БИБЛИОТЕКА



МОСКВА

ISSN 0132-2095

№ 18 1991

Николай ***ЗАБОЛОЦКИЙ***

ИСТОРИЯ МОЕГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК» № 18

Издается с января 1925 года

Николай ЗАБОЛОЦКИЙ

ИСТОРИЯ МОЕГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Москва. 1991

ТЯЖКИЕ ГОДЫ НИКОЛАЯ ЗАБОЛОЦКОГО

Отец Николая Алексеевича Заболоцкого был земским агрономом. Алексей Агафонович служил близ Казани на сельскохозяйственных фермах, затем в селе Сернур (ныне это территория Марийской АССР, районный центр). После революции отец будущего поэта заведовал фермой-совхозом в уездном городе Уржуме, где Николай Заболоцкий получил среднее образование. Детство его, отчий дом, Уржум, красоты вятской природы запечатлелись в нем на всю жизнь и многое в ней определили.

«Мои первые неизгладимые впечатления природы связаны с этими местами. Вдоволь наслушался я там соловьев, вдоволь насмотрелся закатов и всей целомудренной прелести растительного мира. Свою сознательную жизнь я почти полностью прожил в больших городах, но чудесная природа Сернура никогда не умирала в моей душе и отобразилась во многих моих стихотворениях», — пишет Заболоцкий в «Ранних годах».

Семнадцати лет от роду, в 1920 году, Николай Заболоцкий переехал из Уржума в Москву, а затем в 1921 году — в Петроград. Он учился в Педагогическом институте имени А. И. Герцена на отделении языка и литературы, после окончания которого служил в армии.

Жизнь приучила Николая Заболоцкого к серьезному планомерному труду, к самоограничению и терпению, которые вместе с глубокими замыслами художника создали его характер. Этот человек смело до дерзости задумывал жизнь. Казалось, что этот человек — физически и духовно — надолго, на сто лет.

Николай Заболоцкий не искал признания. Он прежде всего искал себя; художническая индивидуальность, самобытность, свой мир — во главе угла. Он испытал на себе разные влияния: от Блока до Есенина, от Маяковского до Ахматовой. Долго накапливал он стихи для первой книги. Когда она («Столбцы», 1929) вышла, то имела шумный успех. Читатели ее резко разделились на два лагеря. Одни пришли в восторг от книги, открывшей нового поэта,

другие потешались над ним, возмущаясь, ругали последними словами. Хвалили одиночки, поносили группы и группки. Если собрать воедино эту критическую ругань, то получится немалый том, являющий миру близорукость и недомыслие, тупость и ханжество. Но Николай Заболоцкий стремительно рос («Как мир меняется! И как я сам меняюсь!») и продолжал удивлять как своих поклонников, так и своих хулителей. Число поклонников с годами множилось, они получали из рук поэта новые подтверждения для своей веры в него и его талант.

В 1928 году Николай Заболоцкий писал своей будущей жене Екатерине Васильевне Клыковой: «Вера и упорство, труд и честность... Я отрекся от житейского благополучия, от «общественного положения», оторвался от своей семьи — для искусства. Вне его — я ничто...» Поэт до конца остался верен этим принципам в жизни и в творчестве.

Далеко не все стороны биографии поэта освещены.

Доселе в нашей литературе период жизни Николая Заболоцкого между 1938 и 1946 годами выглядел как некая таинственная пауза. Где был поэт в эту пору? Об этом не принято было говорить, и в иных писаниях тяжелейший период в жизни человека выглядел как засекреченная творческая командировка или — еще чего доброго — пребывание на курорте.

Сейчас, спустя полвека, читатель поэта узнал правду о жизни Заболоцкого. Этому и посвящена лежащая перед читателем книга.

Помимо небольшого (один печатный лист), но очень ценного в общественном и литературном отношении очерка «История моего заключения» осталось, к счастью, около ста писем Н. А. Заболоцкого из лагерей.

В заключении, как известно, Заболоцкий дробил камень в карьере, валил лес в тайге (при его-то любви к деревьям!), строил дороги, был чертежником в проектном отделе строительства, осуществлявшегося лагерниками. Эта работа чертежника после непосильного физического труда и губительного общения с уголовниками наверняка сохранила ему жизнь.

В 1943 году Заболоцкого перевели в Алтайский край, где он участвовал в добыче озерной соды. Эта работа подточила его здоровье. С болезнью сердца он попал в лазарет.

Позднее на воле, в общении с людьми (я это проверил на себе) Николай Алексеевич не любил рассказывать о годах неволи, о своих мучениях и тревогах. Оставшиеся письма его к жене Екатерине Васильевне — важное свидетельство пережитых поэтом тяжелейших лет. Читая их, надо учесть: во-первых, понимание Н. Забо-

лоцким того, что письма эти прочитываются посторонними (их надо было сдавать в незапечатанном виде), во-вторых — поэту не хотелось волновать жену и детей и рассказывать о себе всю правду до конца. И все же эти письма — ценнейшее свидетельство жизни поэта, дающие возможность понять и каким было его существование в лагере, и характер самого поэта в экстремальных условиях.

Конечно, пришлось приложить немало усилий для освобождения Николая Заболоцкого. В этом участвовало немало благожелательных и деятельных людей. Он вернулся с тяжелой травмой в душе, познавший всю горечь заключения и треклятой лагерной жизни. Пройдя такую «школу», мучительно переживал длительный насильственный перерыв в литературных занятиях. Если в таком состоянии он за двенадцать лет создал столько прекрасных стихотворений, то легко себе представить, что мог сотворить этот человек в нормальных условиях.

Нет смысла жаловаться на отсутствие внимания издателей, критики, читателя к творчеству Николая Заболоцкого, особенно после его смерти. Имя поэта теперь упоминается в ряду самых заметных имен русских поэтов современной эпохи. Его стихотворения прочно вошли в антологии и хрестоматии. Они переводятся на многие языки мира.

Написано поэтом количественно мало, но какой большой материал дает это немногословное творчество, как весома строка поэта, какие несметные мысли и страсти внушает она, толкая на раздумья и споры самого актуального, самого животрепещущего характера!

В 1947 году Николай Алексеевич написал стихотворение под обязывающим названием «Завещание». Оно завершается такой строфой:

О, я недаром в этом мире жил!
И сладко мне стремиться из потемок,
Чтоб, взяв меня в ладонь, ты, дальний мой потомок,
Доделал то, что я не довершил.

Ближние потомки поэта, наши современники, уже сказали ему слова признательности и с переменным успехом стремятся доделать то, что ему довершить не удалось. Что же касается дальних потомков, к которым и обращается поэт, то мы не вправе говорить от их имени, они только еще придут в этот мир. Но, думается нам, что в поэзии Николая Заболоцкого есть такой запас прочности, что подкрепляет нашу надежду на жизнь произведений поэта в будущем.

А сейчас вернемся к трагическим страницам книги жизни Николая Заболоцкого. Узнаем правду об его жизни, правду, поведанную им самим.

«История моего заключения» и избранные письма печатаются по рукописям, хранящимся в семье Н. А. Заболоцкого. Выражаю признательность Екатерине Васильевне и Никите Николаевичу Заболоцким за помощь при подготовке этой книги.

Стихи, помещенные в ней, воспроизводят тексты первого тома Собрания сочинений Н. Заболоцкого.

Портрет Н. А. Заболоцкого на обложке относится к 1946 году, ко времени возвращения из ссылки.

Лев ОЗЕРОВ

ПРОТИВОСТОЯНИЕ МАРСА

Подобный огненному зверю,
Глядишь на землю ты мою,
Но я ни в чем тебе не верю
И славословий не пою.
Звезда зловещая! Во мраке
Печальных лет моей страны
Ты в небесах чертила знаки
Страданья, крови и войны.
Когда над крышами селений
Ты открывала сонный глаз,
Какая боль предположений
Всегда охватывала нас!
И был он в руку — сон зловещий:
Война с ружьем наперевес
В селеньях жгла дома и вещи
И угоняла семьи в лес.
Был бой и гром, и дождь и слякоть,
Печаль скитаний и разлук,
И уставало сердце плакать
От нестерпимых этих мук.
И над безжизненной пустыней
Подняв ресницы в поздний час,
Кровавый Марс из бездны синей
Смотрел внимательно на нас.
И тень сознательности злобной
Кривила смутные черты,
Как будто дух звероподобный
Смотрел на землю с высоты.
Тот дух, что выстроил каналы
Для неизвестных нам судов
И стекловидные вокзалы
Средь марсианских городов.
Дух, полный разума и воли,

Лишенный сердца и души,
Кто о чужой не страждет боли,
Кому все средства хороши.
Но знаю я, что есть на свете
Планета малая одна,
Где из столетия в столетье
Живут иные племена.
И там есть муки и печали,
И там есть пища для страстей,
Но люди там не утеряли
Души естественной своей.
Там золотые волны света
Плывут сквозь сумрак бытия,
И эта малая планета —
Земля злосчастная моя.

1956

ИСТОРИЯ МОЕГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

1

Это случилось в Ленинграде 19 марта 1938 года. Секретарь Ленинградского отделения Союза писателей Мирошниченко вызвал меня в Союз по срочному делу. В его кабинете сидели два неизвестных мне человека в гражданской одежде.

— Эти товарищи хотят говорить с вами,— сказал Мирошниченко. Один из незнакомцев показал мне свой документ сотрудника НКВД.

— Мы должны переговорить с вами у вас на дому,— сказал он.

В ожидавшей меня машине мы приехали ко мне домой, на канал Грибоедова. Жена лежала с ангиной в моей комнате. Я объяснил ей, в чем дело. Сотрудники НКВД предъявили мне ордер на арест.

— Вот до чего мы дожили,— сказал я, обнимая жену и показывая ей ордер.

Начался обыск. Отобрали два чемодана рукописей и книг. Я попрощался с семьей. Младшей дочке было в то время 11 месяцев. Когда я целовал ее, она впервые пролепетала: «Папа!». Мы вышли и прошли коридором к выходу на лестницу. Тут жена с криком ужаса догнала нас. В дверях мы расстались.

Меня привели в Дом предварительного заключения (ДПЗ), соединенный с так называемым Большим домом на Литейном проспекте. Обыскали, отобрали чемодан, шарф, подтяжки, воротничок, срезали металлические пуговицы с костюма, заперли в крошечную камеру. Через

некоторое время велели оставить вещи в какой-то другой камере и коридорами повели на допрос.

Начался допрос, который продолжался около четырех суток без перерыва. Вслед за первыми фразами послышалась брань, крик, угрозы. Ввиду моего отказа признать за собой какие-либо преступления, меня вывели из общей комнаты следователей, и с этого времени допрос велся, главным образом, в кабинете моего следователя Лупандина (Николая Николаевича) и его заместителя Меркурьева. Этот последний был мобилизован в помощь сотрудникам НКВД, которые в то время не справлялись с делами, ввиду большого количества арестованных.

Следователи настаивали на том, чтобы я сознался в своих преступлениях против Советской власти. Так как этих преступлений я за собою не знал, то, понятно, что и сознаваться мне было не в чем.

— Знаешь ли ты, что говорил Горький о тех врагах, которые не сдаются? — спрашивал следователь.— Их уничтожают!

— Это не имеет ко мне отношения,— отвечал я.

Апелляция к Горькому повторялась всякий раз, когда в кабинет входил какой-либо посторонний следователь и узнавал, что допрашивают писателя.

Я протестовал против незаконного ареста, против грубого обращения, криков и брани, ссылался на права, которыми я, как и всякий гражданин, обладаю по Советской Конституции.

— Действие конституции кончается у нашего порога,— издевательски отвечал следователь.

Первые дни меня не били, стараясь разложить меня морально и измотать физически. Мне не давали пищи. Не разрешали спать. Следователи сменяли друг друга, я же неподвижно сидел на стуле перед следовательским столом — сутки за сутками. За стеной, в соседнем кабинете, по временам слышались чьи-то неистовые вопли. Ноги мои стали отекать, и на третьи сутки мне пришлось разорвать ботинки, так как я не мог более переносить боли в стопах. Сознание стало затуманиваться, и я все силы напрягал для того, чтобы отвечать разумно и не допустить какой-либо несправедливости в отношении тех людей, о которых меня спрашивали. Впрочем, допрос иногда прерывался и мы сидели молча. Следователь что-то писал, я пытался дремать, но он тотчас будил меня.

По ходу допроса выяснялось, что НКВД пытается сколотить дело о некоей контрреволюционной писательской организации. Главой организации предполагалось сделать Н. С. Тихонова. В качестве членов должны были фигурировать писатели-ленинградцы, к этому времени уже арестованные: Бенедикт Лившиц, Елена Тагер, Георгий Куклин, кажется, Борис Корнилов, кто-то еще и, наконец, я. Усиленно допытывались сведений о Федине и Маршаке. Неоднократно шла речь о Н. М. Олейникове, Т. И. Табидзе, Д. И. Хармсе и А. И. Введенском,— поэтах, с которыми я был связан старым знакомством и общими литературными интересами. В особую вину мне ставилась моя поэма «Торжество Зе-

мледелия», которая была напечатана Тихоновым в журнале «Звезда» в 1933 году. Зачитывались «изобличающие» меня «показания» Лившица и Тагер, однако прочитать их собственными глазами мне не давали. Я требовал очной ставки с Лившицем и Тагер, но ее не получил.

На четвертые сутки, в результате нервного напряжения, голода и бессонницы, я начал постепенно терять ясность рассудка. Помнится, я уже сам кричал на следователей и грозил им. Появились признаки галлюцинации: на стене и паркетном полу кабинета я видел непрерывное движение каких-то фигур. Вспоминается, как однажды я сидел перед целым синклитом следователей. Я уже нимало не боялся их и презирал их. Перед моими глазами перелистывалась какая-то огромная воображаемая мной книга, и на каждой ее странице я видел все новые и новые изображения. Не обращая ни на что внимания, я разъяснял следователям содержание этих картин. Мне сейчас трудно определить мое тогдашнее состояние, но помнится, я чувствовал внутреннее облегчение и торжество свое перед этими людьми, которым не удается сделать меня бесчестным человеком. Сознание, очевидно, еще теплилось во мне, если я запомнил это обстоятельство и помню его до сих пор.

Не знаю, сколько времени это продолжалось. Наконец, меня вытолкнули в другую комнату. Оглушенный ударом сзади, я упал, стал подниматься, но последовал второй удар в лицо. Я потерял сознание. Очнулся я, захлебываясь от воды, которую кто-то лил на меня. Меня подняли на руки и, мне показалось, начали срывать с меня одежду. Я снова потерял сознание. Едва я пришел в себя, как какие-то неизвестные мне парни поволокли меня по каменным коридорам тюрьмы, избивая меня и издеваясь над моей беззащитностью. Они втащили меня в камеру с железной решетчатой дверью, уровень пола которой был ниже пола коридора, и заперли в ней. Как только я очнулся (не знаю, как скоро случилось это), первой мыслью моей было: защищаться! Защищаться, не дать убить себя этим людям, или, по крайней мере, не отдать свою жизнь даром! В камере стояла тяжелая железная койка. Я подтащил ее к решетчатой двери и подпер ее спинкой дверную ручку. Чтобы ручка не соскочила со спинки, я прикрутил ее к кровати полотенцем, которое было на мне вместо шарфа. За этим занятием я был застигнут моими мучителями. Они бросились к двери, чтобы раскрутить полотенце, но я схватил стоящую в углу швабру, и, пользуясь ею, как пикой, оборонялся насколько мог, и скоро отогнал от двери всех тюремщиков. Чтобы справиться со мной, им пришлось подтащить к двери пожарный шланг и привести его в действие. Струя воды под сильным напором ударила в меня и обожгла тело. Меня загнали этой струей в угол и, после долгих усилий, вломились в камеру целой толпой. Тут меня жестоко избили, испинали сапогами, и врачи впоследствии удивлялись, как остались целы мои внутренности — настолько велики были следы истязаний.

Я очнулся от невыносимой боли в правой руке. С завернутыми назад руками я лежал, прикрученный к железным перекладинам койки.

Одна из перекладин врезалась в руку и нестерпимо мучила меня. Мне чудилось, что вода заливает камеру, что уровень ее поднимается все выше и выше, что через мгновение меня зальет с головой. Я кричал в отчаянье и требовал, чтобы какой-то губернатор приказал освободить меня. Это продолжалось бесконечно долго. Дальше все путается в моем сознании. Вспоминаю, что я пришел в себя на деревянных нарах. Все вокруг было мокро, одежда промокла насквозь, рядом валялся пиджак, тоже мокрый и тяжелый, как камень. Затем как сквозь сон помню, что какие-то люди волокли меня под руки по двору... Когда сознание снова вернулось ко мне, я был уже в больнице для умалишенных.

Тюремная больница Института судебной психиатрии помещалась недалеко от Дома предварительного заключения. Здесь меня держали, если я не ошибаюсь, около двух недель, сначала в буйном, потом в тихом отделениях.

Состояние мое было тяжелое: я был потрясен и доведен до невменяемости, физически же измучен истязаниями, голодом и бессонницей. Но остаток сознания еще теплился во мне или возвращался ко мне по временам. Так, я хорошо запомнил, как, раздевая меня и принимая от меня одежду, волновалась медицинская сестра: у нее тряслись руки и дрожали губы. Не помню и не знаю, как лечили меня на первых порах. Помню только, что я пил по целой стопке какую-то мутную жидкость, от которой голова делалась деревянной и бесчувственной. Вначале, в припадке отчаянья я торопился рассказать врачам обо всем, что было со мною. Но врачи лишь твердили мне: «Вы должны успокоиться, чтобы оправдать себя перед судом». Больница в эти дни была моим убежищем, а врачи, если и не очень лечили, то, по крайней мере, не мучили меня. Из них я помню врача Гонтарева и женщину-врача Келчевскую (имя ее Нина, отчества не помню).

Из больных мне вспоминается умалишенный, который, изображая громкоговоритель, часто вставал в моем изголовье и трубным голосом произносил величания Сталину. Другой бегал на четвереньках, лая по-собачьи. Это были самые беспокойные люди. На других безумие накатывало лишь по временам. В обычное время они молчали, саркастически улыбаясь и жестикулируя, или неподвижно лежали на своих постелях.

Через несколько дней я стал приходить в себя и с ужасом понял, что мне предстоит скорое возвращение в дом пыток. Это случилось на одном из медицинских осмотров, когда на вопрос врача, откуда взялись черные кровоподтеки на моем теле, я ответил: «Упал и ушибся». Я заметил, как переглянулись врачи: им стало ясно, что сознание вернулось ко мне, и я уже не хочу винить следователей, чтобы не ухудшить своего положения. Однако, я был еще очень слаб, психически неустойчив, с трудом дышал от боли при каждом вдохе, и это обстоятельство на несколько дней отсрочило мою выписку.

Возвращаясь в тюрьму, я ожидал, что меня снова возьмут на допрос, и приготовился ко всему, лишь бы не наклеветать ни на себя, ни на других. На допрос меня, однако, не повели, но втолкнули в одну из больших общих камер, до отказа наполненную заключенными. Это была большая, человек на 12—15 комната, с решетчатой дверью, выходящей в тюремный коридор. Людей в ней было человек 70—80, а по временам доходило и до 100. Облака пара и специфическое тюремное зловоние неслись из нее в коридор, и я помню, как они поразили меня. Дверь с трудом закрылась за мной, и я оказался в толпе людей, стоящих вплотную друг возле друга или сидящих беспорядочными кучами по всей камере. Узнав, что новичок — писатель, соседи заявили мне, что в камере есть и другие писатели, и вскоре привели ко мне П. Н. Медведева и Д. И. Выгодского, арестованных ранее меня. Увидав меня в жалком моем положении, товарищи пристроили меня в какой-то угол. Так началась моя тюремная жизнь в прямом значении этого слова.

2

Большинство свободных людей отличаются от несвободных общими характерными для них признаками. Они достаточно уверены в себе, в той или иной мере обладают чувством собственного достоинства, спокойно и разумно реагируют на внешние раздражения... В годы моего заключения средний человек, без всякой уважительной причины лишенный свободы, униженный, оскорбленный, напуганный и сбитый с толку той фантастической действительностью, в которую он внезапно попадал, чаще всего терял особенности, присущие ему на свободе. Как пойманный в силки заяц, он беспомощно метался в них, ломился в открытые двери, доказывая свою невинность, дрожал от страха перед ничтожными выродками, потерявшими свое человекоподобие, всех подозревал, терял веру в самых близких людей и сам обнаруживал наиболее низменные свои черты, доселе скрытые от постороннего глаза. Через несколько дней тюремной обработки черты раба явственно выступали на его облике, и ложь, возведенная на него, начинала пускать свои корни в его смятенную и дрожащую душу.

В ДПЗ, где заключенные содержались в период следствия, этот процесс духовного растления людей только лишь начинался. Здесь можно было наблюдать все виды отчаянья, все проявления холодной безнадежности, конвульсивного истерического веселья и цинического наплевательства на все на свете, в том числе и на собственную жизнь. Странно было видеть этих взрослых людей, то рыдающих, то падающих в обморок, то трясущихся от страха, затравленных и жалких. Мне рассказывали, что писатель Адриан Пиотровский, сидевший в камере незадолго до меня, потерял от горя всякий облик человеческий, метался по камере, царапал грудь каким-то гвоздем и устраивал по ночам постыдные вещи на глазах у всей камеры. Но рекорд в этом отношении побил, кажется,

Валентин Стенич, сидевший в камере по соседству. Эстет, сноб и гурман в обычной жизни, он, по рассказам заключенных, быстро нашел со следователями общий язык и за пачку папирос подписывал любые показания. Справедливость требует сказать, что наряду с этими людьми были и другие, сохранившие ценой величайших усилий свое человеческое достоинство. Зачастую эти порядочные люди до ареста были совсем маленькими скромными винтиками нашего общества, в то время как великие люди мира сего нередко превращались в тюрьме в жалкое подобие человека. Тюрьма выводила людей на чистую воду, только не в том смысле, как этого хотели Заковский и его начальство.

Весь этот процесс разложения человека проходил на глазах у всей камеры. Человек не мог здесь уединиться ни на миг и даже свою нужду отправлял он в открытой уборной, находившейся тут же. Тот, кто хотел плакать,— плакал при всех, и чувство естественного стыда удесятеряло его муки. Тот, кто хотел покончить с собою,— ночью, под одеялом, сжав зубы, осколком стекла пытался вскрыть вены на руке, но чей-либо бессонный взор быстро обнаруживал самоубийцу, и товарищи обезоруживали его. Эта жизнь на людях была добавочной пыткой, но в то же время она помогла многим перенести их невыносимые мучения.

Камера, куда я попал, была подобна огромному, вечно жужжавшему муравейнику, где люди целый день топтались друг подле друга, дышали чужими испарениями, ходили, перешагивая через лежащие тела, ссорились и мирились, плакали и смеялись. Уголовники здесь были смешаны с политическими, но в 1937—1938 годах политических было в десять раз больше, чем уголовных, и потому в тюрьме уголовники держались робко и неуверенно. Они были нашими владыками в лагерях, в тюрьме же были едва заметны. Во главе камеры стоял выборный староста по фамилии Гетман. От него зависел распорядок нашей жизни. Он сообразно тюремному стажу распределял места — где кому спать и сидеть, он распределял довольствие и наблюдал за порядком. Большая слаженность и дисциплина требовались для того, чтобы всем устроиться на ночь. Места было столько, что люди могли лечь только на бок, вплотную прижавшись друг к другу, да и то не все враз, но в две очереди. Устройство на ночь происходило по команде старосты, и это было удивительное зрелище соразмерных, точно рассчитанных движений и перемещений, выработанных многими «поколениями» заключенных, принужденных жить в одной тесно спрессованной толпе, и постепенно передающих новичкам свои навыки.

Днем камера жила вялой и скучной жизнью. Каждое пустяковое житейское дело: пришить пуговицу, починить разорванное платье, сходить в уборную,— вырастало здесь в целую проблему. Так, для того, чтобы сходить в уборную, нужно было отстоять в очереди не менее чем полчаса. Оживление в дневной распорядок вносили только завтрак, обед и ужин. В ДПЗ кормили сносно, заключенные не голодали. Другим развлечением были обыски. Обыски устраивались регулярно и носили

унизительный характер. Цели своей они достигали только отчасти, так как любой заключенный знает десятки способов, как уберечь свою иголку, огрызок карандаша или самое большое свое сокровище — перочинный ножичек или лезвие от самобрейки. На допросы в течение дня заключенных почти не вызывали.

Допросы начинались ночью, когда весь многоэтажный застенок на Литейном проспекте озарялся сотнями огней, и сотни сержантов, лейтенантов и капитанов госбезопасности вместе со своими подручными приступали к очередной работе. Огромный каменный двор здания, куда выходили открытые окна кабинетов, наполнялся стоном и душераздирающими воплями избиваемых людей. Вся камера вздрагивала, точно электрический ток внезапно пробегал по ней, и немой ужас снова появлялся в глазах заключенных. Часто, чтобы заглушить эти вопли, во дворе ставились тяжелые грузовики с работающими моторами. Но за треском моторов наше воображение рисовало уже нечто совершенно неописуемое, и наше нервное возбуждение доходило до крайней степени.

От времени до времени брали на допрос того или другого заключенного. Процесс вызова был такой.

— Иванов! — кричал, подходя к решетке двери, тюремный служащий.

— Василий Петрович! — должен был ответить заключенный, называя свое имя-отчество.

— К следователю!

Заключенного выводили из камеры, обыскивали, и вели коридорами в здание НКВД. На всех коридорах были устроены деревянные, наглухо закрывающиеся будки, нечто вроде шкафов или телефонных будок. Во избежание встреч с другими арестованными, которые показывались в конце коридора, заключенного обычно вталкивали в одну из таких будок, где он должен был ждать, покуда встречного уведут дальше.

По временам в камеру возвращались уже допрошенные; зачастую их вталкивали в полной прострации и они падали на наши руки; других же почти вносили и мы потом долго ухаживали за этими несчастными, прикладывая холодные компрессы и отпаивая их водой. Впрочем, нередко бывало и так, что тюремщик приходил лишь за вещами заключенного, а сам заключенный, вызванный на допрос, в камеру уже не возвращался.

Издевательство и побои испытывал в то время каждый, кто пытался вести себя на допросах не так, как это было угодно следователю, то есть попросту говоря, всякий, кто не хотел быть клеветником.

Дав. Ис. Выгодского, честнейшего человека, талантливого писателя, старика, следователь таскал за бороду и плевал ему в лицо. Шестидесятилетнего профессора математики, моего соседа по камере, больного печенью (фамилию его не могу припомнить), следователь-садист ставил на четвереньки и целыми часами держал в таком положении, чтобы

обострить болезнь и вызвать нестерпимые боли. Однажды, по дороге на допрос, меня по ошибке втолкнули в чужой кабинет, и я видел, как красивая молодая женщина в черном платье ударила следователя по лицу и тот схватил ее за волосы, повалил на пол и стал пинать ее сапогами. Меня тотчас же выволокли из комнаты, и я слышал за спиной ее ужасные вопли.

Чем объясняли заключенные эти вопиющие извращения в следственном деле, эти бесчеловечные пытки и истязания? Большинство было убеждено в том, что их всерьез принимают за великих преступников. Рассказывали об одном несчастном, который при каждом избиении неистово кричал: «Да здравствует Сталин!» Два молодца лупили его резиновыми дубинками, завернутыми в газету, а он, корчась от боли, славословил Сталина, желая этим доказать свою правоверность. Тень догадки мелькала в головах наиболее здравомыслящих людей, а иные, очевидно, были недалеки от истинного понимания дела, но все они, затравленные и терроризированные, не имели смелости поделиться мыслями друг с другом, так как не без основания полагали, что в камере снуют соглядатаи и тайные осведомители, вольные и невольные. В моей голове созревала странная уверенность в том, что мы находимся в руках фашистов, которые под носом у нашей власти нашли способ уничтожать советских людей, действуя в самом центре советской карательной системы. Эту свою догадку я сообщил одному старому партийцу, сидевшему со мной, и с ужасом в глазах он сознался мне, что и сам думает то же, но не смеет никому заикнуться об этом. И действительно, чем иным могли мы объяснить все те ужасы, которые происходили с нами,— мы, советские люди, воспитанные в духе преданности делу социализма? Только теперь восемнадцать лет спустя, жизнь, наконец, показала мне, в чем мы были правы и в чем заблуждались...

После возвращения из больницы меня оставили в покое и долгое время к следователю не вызывали. Когда же допросы возобновились,— а их было еще несколько,— никто меня больше не бил, дело ограничивалось обычными угрозами и бранью. Я стоял на своем, следствие топталось на месте. Наконец, в августе месяце, я был вызван «с вещами» и переведен в Кресты.

Я помню этот жаркий день, когда одетый в драповое пальто, со свертком белья подмышкой, я был приведен в маленькую камеру Крестов, рассчитанную на двух заключенных. Десять голых человеческих фигур, истекающих потом и изнемогающих от жары, сидели, как индийские божки, на корточках вдоль стен по всему периметру камеры. Поздоровавшись, я разделся догола и сел между ними, одиннадцатый по счету. Вскоре подо мной на каменном полу образовалось большое влажное пятно. Так началась моя жизнь в Крестах.

В камере стояла одна железная койка и на ней спал старый капитан Северного флота, общепризнанный староста камеры. У него не действовали ноги, отбитые на допросе в Архангельске. Старый морской волк,

привыкший смотреть в глаза смерти, теперь он был беспомощен, как ребенок.

В Крестах меня на допросы не водили: следствие было, очевидно, закончено. Сразу и резко ухудшилось питание, и если бы мы не имели права прикупать продукты на собственные деньги, мы сидели бы полуголодом.

В начале октября мне было объявлено под расписку, что я приговорен Особым совещанием (то есть без суда) к пяти годам лагерей «за троцкистскую контрреволюционную деятельность». 5 октября я сообщил об этом жене, и мне было разрешено свидание с нею: предполагалась скорая отправка на этап.

Свидание состоялось в конце месяца. Жена держалась благоразумно, хотя ее с маленькими детьми уже высылали из города и моя участь была ей известна. Я получил от нее мешок с необходимыми вещами и мы расстались, не зная, увидимся ли еще когда-нибудь...

Этап тронулся 8 ноября, на другой день после отъезда моей семьи из Ленинграда. Везли нас в теплушках, под сильной охраной, и дня через два мы оказались в Свердловской пересыльной тюрьме, где просидели около месяца. С 5 декабря, Дня Советской Конституции, начался наш великий сибирский этап — целая одиссея фантастических переживаний, о которой следует рассказать поподробнее.

Везли нас с такими предосторожностями, как будто мы были не обыкновенные люди, забитые, замордованные и несчастные, но какие-то сверхъестественные злодеи, способные в каждую минуту взорвать всю вселенную, дай только нам шаг ступить свободно. Наш поезд, состоящий из бесконечного ряда тюремных теплушек, представлял собой диковинное зрелище. На крышах вагонов были установлены прожектора, заливавшие светом окрестности. Тут и там, на крышах и площадках торчали пулеметы, было великое множество охраны, на остановках выпускались собаки-овчарки, готовые растерзать любого беглеца. В те редкие дни, когда нас выводили в баню или вели в какую-либо пересылку, нас выстраивали рядами, ставили на колени в снег, завертывали руки за спину. В таком положении мы стояли и ждали, пока не закончится процедура проверки, а вокруг смотрели на нас десятки ружейных дул, и сзади, наседая на наши пятки, яростно выли овчарки, вырываясь из рук проводников. Шли в затылок друг другу.

— Шаг в сторону — открываю огонь! — было обычное предупреждение.

Впрочем, за весь двухмесячный путь из вагона мы выходили только в Новосибирске, Иркутске и Чите. Нечего и говорить, что посторонних людей к нам не подпускали и за версту.

Шестьдесят с лишком дней мы тащились по Сибирской магистрали, простаивая целыми сутками на запасных путях. В теплушке было, помнится, человек сорок народу. Стояла лютая зима, морозы с каждым днем все крепчали и крепчали. Посередине вагона топилась маленькая

чугунная печурка, около которой сидел дневальный и смотрел за нею. Вначале мы жили на два этажа — одна половина людей помещалась внизу, а вторая вверху, на высоких нарах, устроенных по обе стороны вагона, на уровне немного ниже человеческого роста. Но вскоре нестерпимый мороз загнал всех нижних жителей на нары, но и здесь, сбившись в кучу и согревая друг друга собственными телами, мы жестоко страдали от холодов. Понемногу жизнь превратилась в чисто физиологическое существование, лишенное духовных интересов, где все заботы человека сводились лишь к тому, чтобы не умереть от голода и жажды, не замерзнуть и не быть застреленным, подобно зачумленной собаке...

В день полагалось на человека 300 граммов хлеба, дважды в день кипяток и обед из жидкой «баланды» и черпачка каши. Голодным и иззябшим людям этой пищи, конечно, не хватало. Но и этот жалкий паек выдавался нерегулярно и, очевидно, не всегда по вине обслуживающих нас привилегированных уголовных заключенных. Дело в том, что снабжение всей этой громады арестованных людей, двигавшихся в то время по Сибири нескончаемыми эшелонами, представляло собой сложную хозяйственную задачу. На многих станциях из-за лютых холодов и нераспорядительности начальства невозможно было снабдить людей даже водою. Однажды мы около трех суток почти не получали воды и, встречая новый 1939 год где-то около Байкала, должны были лизать черные закоптелые сосульки, наросшие на стенах вагона от наших же собственных испарений. Это новогоднее пиршество мне не удастся забыть до конца жизни.

В том же вагоне я впервые столкнулся с миром уголовников, которые стали проклятием для нас, осужденных влачить свое существование рядом с ними, а зачастую под их началом.

Уголовники — воры-рецидивисты, грабители, бандиты, убийцы со всей многочисленной свитой своих единомышленников, соучастников и подручных различных мастей и оттенков,— народ особый, представляющий собой общественную категорию, сложившуюся на протяжении многих лет, выработавшую свои особые нормы жизни, свою особую мораль и даже особую эстетику. Эти люди жили по своим собственным законам, и законы их были крепче, чем законы любого государства. У них были свои вожаки, одно слово которых могло стоить жизни любому рядовому члену их касты. Все они были связаны между собой общностью своих взглядов на жизнь, и у них эти взгляды не отделялись от их житейской практики. Исконные жители тюрем и лагерей, они искренне и глубоко презирали нас — разнокалиберную, пеструю, сбитую с толка толпу случайных посетителей их захребетного мира. С их точки зрения, мы были жалкой тварью, не заслуживающей уважения и подлежащей самой беспощадной эксплуатации и смерти. И тогда, когда это зависело от них, они со спокойной совестью уничтожали нас с прямого или косвенного благословения лагерного начальства.

Я держусь того мнения, что значительная часть уголовников действительно незаурядный народ. Это действительно чем-то выдающиеся люди, способности которых по тем или иным причинам развились по преступному пути, враждебному разумным нормам человеческого общежития. Во имя своей морали почти все они были способны на необычайные, порой героические поступки; они без страха шли на смерть, ибо презрение товарищей было для них во сто раз страшнее любой смерти. Правда, в мое время наиболее крупные вожаки уголовного мира были уже уничтожены. О них ходили лишь легенды, и все уголовное население лагерей видело в этих легендах свой идеал и старалось жить по заветам своих героев. Крупных вожаков уже не было, но идеология их была жива и невредима.

Как-то само собой наш вагон распался на две части: 58-я статья поселилась на одних нарах, уголовники — на других. Обреченные на сосуществование, мы с затаенной враждой смотрели друг на друга, и лишь по временам эта вражда прорывалась наружу. Вспыхивали яростные ссоры, готовые всякую минуту перейти в побоище. Помню, как однажды, без всякого повода с моей стороны, замахнулся на меня поленом один из наших уголовников, подверженный припадкам и каким-то молниеносным истерикам. Товарищи удержали его, и я остался невредимым. Однако атмосфера особой психической напряженности не проходила ни на миг и накладывала свой отпечаток на нашу вагонную жизнь.

От времени до времени в вагон являлось начальство с поверкой. Для того, чтобы пересчитать людей, нас перегоняли на одни нары. С этих нар по особой команде мы переползали по доске на другие нары, и в это время производился счет. Как сейчас вижу эту картину: черные от копоти, заросшие бородами, мы, как обезьяны, ползем друг за другом на четвереньках по доске, освещаемые тусклым светом фонарей, а малограмотная стража держит нас под наведенными винтовками и считает, считает, путаясь в своей мудреной цифири.

Нас заедали насекомые, и две бани, устроенные нам в Иркутске и Чите, не избавили нас от этого бедствия. Обе эти бани были сущим испытанием для нас. Каждая из них была похожа на преисподнюю, наполненную дико гогочущей толпой бесов и бесенят. О мытье нечего было и думать. Счастливцем чувствовал себя тот, кому удавалось спасти от уголовников свои носильные вещи. Потеря вещей обозначала собой почти верную смерть в дороге. Так оно и случилось с некоторыми несчастными: они погибли в эшелоне, не доехав до лагеря. В нашем вагоне смертных случаев не было.

Два с лишним месяца тянулся наш скорбный поезд по Сибирской магистрали. Два маленьких заледенелых оконца под потолком лишь на короткое время дня робко освещали нашу теплушку. В остальное время горел огарок свечи в фонаре, а когда не давали свечи, весь вагон погружался в непроглядный мрак. Тесно прижавшись друг к другу, мы лежали в этой первобытной тьме, внимая стуку колес и предаваясь безутеш-

ным думам о своей участи. По утрам лишь краем глаза видели мы в окно беспредельные просторы сибирских полей, бесконечную занесенную снегом тайгу, тени сел и городов, осененные столбами вертикального дыма, фантастические отвесные скалы байкальского побережья... Нас везли всё дальше и дальше, на Дальний Восток, на край света...

В первых числах февраля прибыли мы в Хабаровск. Долго стояли здесь. Потом вдруг потянулись обратно, доехали до Волочаевки и повернули с магистрали к северу по новой железнодорожной ветке. По обе стороны дороги замелькали колонны лагерей с их караульными вышками и поселки из новеньких пряничных домиков, построенных по одному образцу. Царство БАМа встречало нас, своих новых поселенцев. Поезд остановился, загрохотали засовы, и мы вышли из своих убежищ в этот новый мир, залитый солнцем, закованный в пятидесятиградусный холод, окруженный видениями тонких, уходящих в самое небо дальневосточных берез.

Так мы прибыли в город Комсомольск-на-Амуре.

ГДЕ-ТО В ПОЛЕ ВОЗЛЕ МАГАДАНА

Где-то в поле возле Магадана,
Посреди опасностей и бед,
В испареньях мерзлого тумана
Шли они за розвальнями вслед.
От солдат, от их луженых глоток,
От бандитов шайки воровской
Здесь спасали только околодок
Да наряды в город за мукой.
Вот они и шли в своих бушлатах —
Два несчастных русских старика,
Вспоминая о родимых хатах
И томясь о них издалека.
Вся душа у них перегорела
Вдалеке от близких и родных,
И усталость, сгорбившая тело,
В эту ночь снедала души их.
Жизнь над ними в образах природы
Чередою двигалась своей.
Только звезды, символы свободы,
Не смотрели больше на людей.
Дивная мистерия вселенной
Шла в театре северных светил,
Но огонь ее проникновенный
До людей уже не доходил.

Вкруг людей посвистывала вьюга,
Заметая мерзлые пеньки.
И на них, не глядя друг на друга,
Замерзая, сели старики.
Стали кони, кончилась работа,
Смертные доделались дела...
Обняла их сладкая дремота,
В дальний край, рыдая, повела.
Не нагонит больше их охрана,
Не настигнет лагерный конвой,
Лишь одни созвездья Магадана
Засверкают, став над головой.

1956

ПИСЬМА ИЗ ТЮРЬМЫ И ЛАГЕРЕЙ

5 октября 1938 (Ленинград, тюрьма «Кресты»)

Родная моя Катенька, милый мой сынок Никитушка, ангел мой Наташечка, здравствуйте, родные мои! Я жив и здоров, и душа моя всегда с вами. Я получил пять лет лагерей. Срок исчисляется со дня ареста. Не горюй и не плачь, родная Катя. Трудно тебе будет, но нужно сохранить и себя и детей. Я верю в тебя и надеюсь, что наше счастье потом вернется к нам. Нас, родная, могут скоро отправить, приходи скорее на свидание. Может быть, успеешь. Захвати с собой, если можно, вещевую передачу: 1) мешок вещевой без пряжек и ремней, на толстых лямках, 2) пару мешочков для продуктов, 3) бурки, 4) что-нибудь вместо теплого шарфа, 5) мои черные новые ботинки с галошами, 6) старые черные брюки, 7) портянки и 2 пары носков, 8) пары по 2 маек и трусов, 9) простыню старую или тряпку, 10) малые наволочки. Мои деньги в ДПЗ, захвати рублей 300, здесь договоримся. Не забудь захватить паспорт. Что мои деточки? Помнят ли папу? Всегда, всегда буду тверд и крепок с мыслью, что увижу вас и буду с вами. Жду тебя, может быть, успеешь. Захвати письмо и проси свидания, так как мы готовимся к этапу. Крепко, крепко целую моих бесконечно дорогих и милых, обнимаю, ласкаю. Будьте здоровы. Напишу при первой возможности. У меня пропали все старые болезни, и я здоров вполне. Захвати ваши фотографии для меня. Наташеньке, дочке, сегодня 1½ года. Мой дорогой праздник. Никитушка, будь умным. Целую дорогую твою головку. Катя, родная, будь здорова. Целую ручки твои. Наташечка, будь здорова, бесконечно родная моя.

Ваш папа Н. Заболоцкий.

Арсенальная набережная, д. 5.

27 февраля 1939 (Район Комсомольска-на-Амуре)

Родная моя Катенька, милые мои дети!

Я здоров и две недели назад отправил тебе первое письмо. Ответу еще быть рано, но жду его с нетерпением. Мой адрес: г. Комсомольск-на-Амуре, Востлаг НКВД, 15 отделение, 2 колонна, мне.

Работаю на общих работах. Хотя с непривычки и трудно, но все же норму начал давать. Просил послать тебя, если ты в силах, 50 рублей и посылку — сала, сахару, мыла, пару простого белья, 2 пары носков и портянок. Еще, дорогая, я нуждаюсь в витамине С (ц). Говорят, он продается в виде облаток рубля полтора коробка. Если есть — пошли, родная. Также хорошо бы — луку, чесноку. Вещей посылать сюда ценных не нужно.

Родные мои, не проходит часа, чтобы не подумал о вас. О детях наших тоскую я, Катя, и о тебе горюю. Жаль мне вас. Что с вами? Пиши сразу, как получишь письмо, и чаще. Я могу тебе писать 2 раза в месяц. О себе, о детях пиши. Адреса твоего еще не знаю. Пошли бумаги, марок.

Родная, я живу одной надеждой, что дело мое будет пересмотрено. Жду и верю, что будет так. 18-го февраля послал заявление Наркому. Надейся и ты, родная. Как бы мне ни было трудно, буду стараться терпеливо ожидать ответа Наркома. Родная моя, целую тебя крепко, крепко. Ласкаю и целую родных Никитушку и Наташечку. Если б только знал я, как вы и что с вами.

Будьте же здоровы, терпеливы и благоразумны.

Любящий вас папа Н. Заболоцкий.

Очки бы мне нужно от близорукости — 1,75 Д. Пошли, если можно заказать, в футляре.

14 мая 1939 (Район Комсомольска-на-Амуре)

Родная моя Катя, милые мои дети! Я жив и здоров, и живу по-старому. Ваши два письма и две телеграммы я получил, о чем уже сообщал вам. Завтра обещают привезти посылки, говорят, есть посылка и мне. Спасибо, женка, что не забываешь меня. Каждый день беспрестанно думаю я о вас, вспоминаю разные мелочи нашей жизни, и часто целые эпизоды как бы снова проходят перед моими глазами. Снятся по ночам дети, мои милые, родные, беззащитные. Тяжело бывает на душе, но мысль о том, что не вечно будут продолжаться эти несчастья, утешает меня. Пока извещения о пересмотре дела еще нет, но я уверен, что оно будет...

Пиши мне чаще, Катя. Последнее письмо (открытка) было от 27

марта. Я пишу тебе дважды в месяц, как это нам разрешается, и если я не уеду дальше, то буду писать так и впредь.

Пришла весна, солнечные дни чередуются с дождями. Представляю себе весну в Уржуме. Конечно, ни на какую дачу вы не поедете, дети будут в городе. Раньше летом хорошо было в саду около старой Митрофаниевской церкви. Я не знаю, как называлась раньше улица Чернышевского, и потому не могу представить себе, где вы живете. Почему-то кажется, что это должно быть недалеко от Митрофаниевского сада и дети могут там гулять.

Устроилась ли ты на работу, Катя? Получила ли доверенность на облигации? Денег мне больше не посылай. Лучше, если будет когда возможность, пошлешь маленькую посылку. Ты уже знаешь, что нужно посылать. Я сыт, так что сухарей посылать не надо. Нужны из продуктов сало, сахар, лук, чеснок. Из одежды — портянки, носки, рукавицы, носовые платки. Ты спрашиваешь — курю ли я — да, курю,— махорку. Может быть, пошлешь какой кисетик побольше, для махорки. Целый день у меня проходит в работе. Извещения о пересылке моих жалоб Наркому и в Президиум Верховного Совета я еще не получал.

Хотелось бы, родные мои, говорить с вами не словами этого лаконического письма, но крепко вас обнять, заглянуть в ваши глаза, чтобы снова почувствовать, как вы живете и что носите в своей душе. Но вы далеко, и я один среди этих лесов.

До свидания, мои милые, целую вас крепко. Будем надеяться, будем хлопотать, чтобы пересмотрели дело. Только не болейте и будьте здоровы.

Ваш папа Н. Заболоцкий.

30 сентября 1939 (Район Комсомольска-на-Амуре)

Родная моя Катенька! Получил твою телеграмму от 9 числа. Я полон надежд и благодарности — за все твои хлопоты. Твердо верю, что пересмотр дела будет в мою пользу. Жду от тебя подробного письма, так как краткие слова телеграммы не дают подробного представления,— в частности назначено дело к пересмотру или только обещали назначить. Во всяком случае, следует еще запастись терпением и тебе и мне, ибо все это делается, вероятно, не так быстро. Напиши, где ты теперь будешь жить,— нельзя ли тебе остаться в Ленинграде?

Я здоров и работаю по-прежнему. В ночь на сегодня выпал первый снег. Начинается зима. Мы в бараке, который сами отеплили. Получили уже часть теплой одежды, так что я в тепле. Чувствую себя хорошо, так как верю в скорое свое оправдание. На днях мы проводили на свободу одного из своих товарищей.

Довольно регулярно читаем газеты. Это нам разрешено. Радуюсь успехам нашей страны, освобождению Западной Украины и Западной Белоруссии.

Работаю и по вечерам мечтаю о свободе, о вас, мои милые, о любимой работе, о том времени, когда я снова смогу поцеловать милых моих и прижать всех вас к моему сердцу.

Последнюю посылку твою, Катя, получил из Уржума от конца августа. Если сможешь послать посылку из Ленинграда, то хорошо если бы ты прислала клюквенного экстракта в бутылочке, кальцекса несколько тюбиков, папирос, меду, витамина С. Если будет время и возможность, хорошо бы было приготовить следующее: послать мне масла с медом. Делается так: сливочное несоленое масло и мед растапливают, смешивают в одинаковых пропорциях и сливают в металлическую банку. Смесь застывает и употребляется с хлебом. Очень питательно и сладко. У меня здесь мало сладкого, было бы очень хорошо. Один из товарищей получает эту смесь и на глазах поправляется. Но все это, конечно, если есть возможность.

Нет денег — продай мои книги, в первую очередь — Брокгауза и Ефрона — Шекспир, Байрон, Шиллер и пр. Костюмы мои можно продать. Не в них счастье. В общем тебе там виднее.

Как ты с ребятами управляешься, не представляю себе. Измучилась ты, вероятно, бедная моя, измоталась. И вместе с тем интересно мне тебя представить в положении самостоятельной женщины, на которую свалилось столько дел. Эх, только бы поскорее мне освободиться, чтобы дать тебе вздохнуть посвободнее, чтобы Никитушка снова увидел своего папку, чтобы Наташенька познакомилась с ним. Милые мои, крепко вас всех целую и обнимаю. Будьте здоровы, не горюйте, не отчаивайтесь. Ваш папа всей душой всегда с вами, будет время, и опять мы будем вместе. Жду твоих писем, Катя, и телеграмм. За все последнее время — из Ленинграда получил только 2 телеграммы. Пиши чаще.

Ваш папа Н. Заболоцкий.

29 декабря 1939 (Район Комсомольска-на-Амуре)

Родная моя Катя! Милые мои дети! Через два дня Новый год, еще раз поздравляю всех вас, целую, желаю здоровья и счастья. Сегодня получилась от вас новогодняя телеграмма, спасибо за поздравления и добрые вести о пересмотре дела. Перед этим была телеграмма о передаче дела ленинградскому областному прокурору. Радостно узнать, что дело мое сдвинулось с мертвой точки, крепко надеюсь и жду, что теперь оно примет другой оборот. Милая Катя, в обеих телеграммах ты пишешь, что «дети здоровы», о своем же здоровье как бы умалчиваешь. У меня возникают подозрения, и я начинаю беспокоиться о твоем здоровье. Когда все здоровы, ты пиши «все здоровы»; о своем же здоровье напиши отдельно. Я с такой нежностью думаю всегда о тебе, ты мне дорога, как никогда, и для детей наших ты теперь единственная опора. Думаю, что

когда я вернусь домой, я буду для тебя лучшим мужем и другом, чем был раньше.

Я здоров, и нового у меня почти нет. Сыт, в тепле, очень много работаю. Твои заботы обо мне и телеграммы крепко поддерживают меня, и я очень тебе за все благодарен.

Рад, очень рад, что хотя временную комнату вы получили. Я не знаю, что это за квартира — кажется, где-то внизу. Пишу пока еще по адресу Лиды, если нужно писать по новому адресу — сообщи. Твоя посылка еще держится, и я питаюсь хорошо. В особенности хорош был язык. Масла съел половину. Чеснок, правда, весь промерз и испортился, несмотря на тщательную упаковку в вату. Я уже писал, милая Катя, что посылок больше слать не надо, нужно экономить то немногое, что у тебя осталось, да и я здесь не сижу голодом.

Быстро идет время. Уже декабрь проходит — один из двух самых морозных месяцев. Погода неровная — то ниже 40°, то довольно мягкая. Нужно сказать, что здешние морозы переносятся значительно легче, чем в Ленинграде. Всю зиму живет с нами в бараке маленький бурундук — нечто вроде белочки — полосатый, маленький. Привык к людям и бегает под ногами. Поймали дятла, и он несколько дней жил у нас в клетке, немилосердно долбил палки, жрал гусениц, которых мы вытаскивали из дров, наконец мы его выпустили. Все эти маленькие забавы иногда скрашивают наши, правда, очень короткие досуги. Слушаем радио, и оно все время говорит сердцу о другом мире — свободном и далеком. Потом опять работа и привычные думы о вас, мои родные. Так идет жизнь и близится март — когда исполнится два года со дня моего ареста. Два года! Сколько мы пережили за это время — и ты, и я! До свидания, моя родная женка, пиши мне также письма, я их давно уже не получал. Никитушку, Наташеньку крепко целую и обнимаю, будьте все здоровы и терпеливы.

Крепко целую тебя. Твой Н. Заболоцкий.

1 января 1940 г. Вот уже и Новый год. В 12 часов я мысленно поздравил вас, мои милые. Встречали праздник хорошо: за хорошую работу начальство выдало нам продуктов — колбасы, консервов, печенья,— так что получилось на брата по доброй посылке. Как-то встречали праздник вы? Верю, что будущий Новый год будем встречать вместе. Целую крепко всех вас.

НЗ.

13 марта 1940 (Район Комсомольска-на-Амуре)

Милая моя Катя! За последние две недели получил от тебя две телеграммы, от 3 и 8 марта, и письмо от 9 января. Перед этим была получена телеграмма от 21 февраля с сообщением о поступлении дела из облпрокуратуры в Прокуратуру Союза, о чем я уже писал тебе в предыдущем письме. Судя по последним телеграммам и письму, ты ждешь

окончания пересмотра моего дела буквально на днях. По всей видимости, ты не знаешь, что весь процесс пересмотра может тянуться очень долго. Заключенный, дело которого опротестовано Верховным Прокурором два-три месяца назад (судя по письмам родственников), до сих пор еще ждет здесь окончательного разрешения дела в НКВД. Так что будь терпелива и ты. Я твердо верю в то, что пересмотр моего дела освободит меня из заключения, но все это делается не так быстро. Нужно справляться о положении дела — если есть возможность, торопить и ждать.

Я жив и здоров. Больших изменений в моей жизни нет. Большую радость доставляют твои письма и телеграммы, хотя не все из них понятно, так как письма запаздывают. Так, я только могу догадываться, что по каким-то причинам ты должна была выехать из кв. 18, а потом снова вернулась. Как, что и почему — не знаю.

Самая большая моя радость — что ты и дети здоровы. Мальчика я уже поздравлял с днем его рождения и послал ему отдельное письмо. Получил ли он его? Когда получится это письмо — и дочке моей будет три года. Целую и крепко обнимаю мою милую доченьку. Помню, как горячо целовал я ее в последний раз — ручки и ножки ее, она смеялась и тихонько говорила «папа». Тогда ей было всего 11 месяцев. Я покинул ее, но как долго она, как живая, была перед моими глазами. Я никогда не думал раньше, что так можно любить детей.

19 марта, через 6 дней, исполнится 2 года моего заключения. Два года из лучшего времени человеческой жизни. Как странно сложилась моя судьба.

Вчера я был очень удивлен. Как всегда, склонившись над столом, я работал. В другом конце барака говорило радио. Транслировалась Москва. Вдруг слышу — артист читает, что-то знакомое. Со второй строчки узнаю — мой перевод Руставели! Битву Автандила с пиратами. Читал актер неважно — но все сердце мое затрепетало от этих полузабытых, но близких строк, и голос московского чтеца прозвучал как голос с того света. И дальше была музыка — Фантастическая симфония Берлиоза. Это потрясающая вещь, особенно 4 часть. Радио в тайге — большая радость.

Сегодня радио сообщило нам еще новую радостную весть — о заключении мира с Финляндией, по которому Советский Союз добился всего, чего желал. Ты понимаешь, как радостно знать, что безопасность родного Ленинграда теперь обеспечена.

Из посылок, милая Катя, как я уже сообщал, я получил только одну продуктовую — в плоском ящике — с концентратами и пр. Валенки и пиджак еще не получил — по всей вероятности, местные задержки. Обещают привезти через несколько дней.

Уже совсем было наступали весенние дни, но вдруг погода снова изменилась: зима настоящая. Думаю, что если вещи получу на днях, — я еще успею их поносить.

Представляю себе, как ты замоталась и измучилась, родная моя. Как хочется тихо, молча посидеть рядом с тобой, ничего не говорить, так, чтобы понемногу отходили и успокаивались наши души. Чтобы все прошлое, как мучительная болезнь, отошло назад и все существо отдыхало бы от пережитых бурь. Будет ли это? Будет. Будем терпеливы. Не будем волноваться и разжигать нетерпением сердце. Будем терпеливы.

Крепко целую и обнимаю тебя, моя родная, и милых наших детей. Коле и Сане передай мой сердечный привет. Будьте здоровы, мои бесконечно дорогие.

Ваш Н. Заболоцкий.

15-го, вечер. Милая Катя, сейчас совершенно неожиданно получил две посылки — с валенками, пиджаком и продуктами в них. Лук и чеснок совершенно разложились, и все пахнет особым запахом разложившегося чеснока. Но это не смущает меня — ибо все впору, а консервы — конечно, пахнуть не будут. Большое спасибо. Только балуешь ты меня. Сейчас сижу уже в валенках. Сейчас буду пробовать продукты. Будьте здоровы.

30 апреля 1940 (Район Комсомольска-на-Амуре)

Милая моя Катя, родные мои детки, здравствуйте!

Снова пришло время писать вам, но говоря по правде, и писать-то не о чем... Живу, вернее сказать — существую по-старому. Все время заполнено работой и привычно-горькими думами о семье. Мечтаю о вас теперь так, как когда-то мечтал о будущих прекрасных поэмах и стихах. Почти каждую ночь вижу во сне детей; тогда пользуясь этим минутным счастьем, стараюсь глубоко-глубоко заглянуть в Никитушкины глаза, чтобы почувствовать его маленькую, родную душу, и все прошу его: «Смотри еще, смотри на папу, сынок». У него такие мягкие, чистые волосики, по-детски душистые, пахнут птичками (как написано где-то). Во сне всегда вижу себя свободным, и это дает счастье. Счастье во сне.

Самая страшная острота всего этого несчастья уже прошла; осталось тяжелое утомление души, насквозь изболевшей.

Последняя телеграмма была, Катя, от 5 числа, в день рождения Наташеньки. С тех пор нет ничего. Пиши мне и смотри не приукрашивай правды.

Я сыт. Хлеба и каши хватает. Заработок теперь 30—40 р., но покупать почти нечего. Сегодня и завтра — свободные дни. Пользуюсь этим и сплю, сплю — может быть, увижу во сне вас.

Я писал о готовальне,— ее покупать не надо, если понадобится — сообщу.

1 мая. Стоят теплые дни, хотя солнце показывается редко. Сегодня пересмотрел все твои телеграммы и письма (последнее было от 15 февраля). 25 января весь материал по пересмотру поступил в Прокуратуру Союза; значит, уже 3 месяца — февраль, март и апрель — дело задержи-

вается в Москве. Последние месяцы ты избаловала меня телеграммами — было по две в декабре, январе, феврале, марте; только в апреле одна — от 5-го числа. Скучаю без них, хотя вполне допускаю, что где-то они задержались.

Год тому назад, в мае, ты писала, что у тебя вышла половина денег. Не приложу ума — на что ты живешь теперь. Продавай, что можешь.

До свидания, родная моя, обнимаю и целую тебя, твои милые ручки. Сильно ударила нас жизнь, выдержим ли мы? Надо выдержать — дети требуют. Только не болей, Катя. Никитушку и Наташеньку обнимаю, моих милых деток. Береги их, сколько можешь. Может быть, и мы когда-нибудь отдохнем с тобою, моя милая жена. Уже третий год идет.

Твой Н. Заболоцкий.

25 июня 1940 (Район Комсомольска-на-Амуре)

Моя милая Катя! На днях получил твое письмо от 31 мая 1940 о том, что Верховная Прокуратура передала мое дело в НКВД для утверждения отмены приговора.

Я всегда твердо верил в то, что мой приговор будет отменен и я буду реабилитирован. Тем не менее твое письмо так сильно подействовало на меня, что я до сих пор хожу под его впечатлением. Легче стало жить на свете. Каждую ночь вижу во сне вас, мои дорогие, и Ленинград. Верю, что уже не так долго ждать мне окончательного разрешения дела в НКВД.

Жаль, милая Катя, что так лаконично сообщаешь мне эту радостную весть. По контексту я понимаю, что дело идет о реабилитации. Но юстиция знает 4 причины отмены приговоров: 1) за отсутствием состава преступления, 2) ввиду того, что приговор сделан не по существу преступления (т. е. приговор не соответствует преступлению), 3) ввиду мягкости приговора и 4) ввиду того, что дело недорасследовано и нуждается в дополнительном рассмотрении.

Судя по твоему письму, я делаю заключение, что Прокуратура отменяет приговор за отсутствием состава преступления. Подтверди это в следующем письме, если ты в курсе дела.

Поразила меня карточка детей. Какие большие они стали! Никитка совсем уже мальчик и смотрит так серьезно. Он очень хорошо пишет. Наташенька такая милая и толстая. Почему ты опять не снялась с детьми? Спасибо тебе за то, что ты сохранила и сберегла детей. Одной тебе они обязаны всем. Я очень хорошо знаю, моя милая женка, что часто тебе приходилось труднее, чем мне. Но ты должна чувствовать, что дети, ради которых нам так часто приходится переносить столько трудностей,— они же и спасают самих нас, дают нам силы в нашем несчастии. Так уж нас устроила природа. Чего не вытерпишь ради детей. Порой жизнь кажется такой нестерпимой, но как только вспомнишь детей,—

чувствуешь — надо жить, надо добиваться правды; веришь — что минуют беды и жизнь снова вступит в свое нормальное течение.

Ты просишь меня беречь себя — я более чем прошу тебя о том же. Ты не должна забывать о себе. Ведь при твоей просьбе я иногда улыбаюсь, но все же нахожу некоторые возможности исполнять ее. Я знаю, как трудно тебе заботиться о себе. Но сколь возможно, ты должна научиться делать это — для детей же в первую очередь, наконец — для меня, который теперь уже имеет реальную надежду возвратиться к семье,— к тебе и детям.

Я, к счастью, физически здоров и за все мое заключение болел очень мало. Мой организм оказался крепче, чем я сам предполагал. Душевно я, конечно, очень утомлен от всего пережитого. Но я отдохну, когда буду с семьей.

В моей жизни больших изменений нет. Живем мы на старом месте, почему я и прошу писать по старому адресу, на поселок Старт. Когда будем переезжать — в точности неизвестно. Питание, как я уже писал тебе, у нас улучшилось, и я всегда сыт. Нет только сладкого. С работой своей я вполне справляюсь и за этот месяц думаю буду иметь выработку не менее 120 процентов нормы, хотя нормы у нас нелегкие. Белья у меня достаточно, обувь в порядке. Сейчас у меня длинная борода и усы, но так как устанавливаются теплые летние дни, я на днях сбрею всю эту историю и опять буду ходить бритым.

Недавно удалось прочитать «Войну и мир» Толстого. Эта книга доставила мне столько счастливых минут, и мне так было жаль, что не было тебя вместе со мной, чтобы поделиться впечатлениями. Как я люблю Толстого! Какой он умный наблюдатель жизни и какой большой художник!

Твое решение не ехать в Уржум за вещами, так как дети дороже,— я вполне одобряю. Относительно готовальни — ничего покупать и посылать не надо, так как сейчас у меня есть хорошие инструменты и я ни в чем этом не нуждаюсь. Сыты ли вы, родные мои? Скорее бы, скорее мог я снова кормить наших милых детей!

До свидания, моя женка, крепко целую тебя и благодарю за радостное письмо. Я терпеливо жду своей очереди и уверен, что все будет хорошо. Целую моих больших деток.

Будьте здоровы и не забывайте вашего папу. Сердечный привет деду.

Ваш Н. Заболоцкий.

28 сентября 1940 (Район Комсомольска-на-Амуре)

Милая Катя! Я жив и здоров. Живу по-старому на старом месте, и нового у меня ничего нет. Работаю архитектурным чертежником, те свободные минуты, которые остаются от 11 часов работы,— отдаю тех-

нической литературе и понемногу повышаю свой технический минимум. Стоят последние дни осени, ожидаем снега с часу на час.

Письма твои получаю редко. Как уже сообщал, в течение последнего месяца получил разом три твоих письма с фото детей. С тех пор ничего не получал и не знаю, что с вами.

Ввиду того, что абсолютно все время занято,— некогда скучать и тосковать. Кончишь работу, засыпаешь как убитый и если и просыпаешься — то только от холода. Так идут день за днем — одинаковые, без переживаний, без мысли. Очень рад, что стал теперь заниматься техникой, чем заполняю пустоту в голове, с которой никогда жить еще не приходилось.

Что мне нужно? Штаны. Какие-нибудь старые, что ли, только чтобы были прочные и потеплее. Вид их безразличен, и кто носил раньше — тоже. Если подвернется случай — вышли, пожалуйста. А то эти синие уже носятся, не снимая, 2 года и уже разваливаются, не говоря уже о том, что вид имеют самый фантастический. И если будешь их высылать, пожалуйста, не забудь махорку или табаку хотя самого дешевого, но побольше. Пропадаю без табаку и достать негде. Впрочем: и штаны и табак не важны, ибо можно обойтись и без них.

В последнем письме выслал тебе доверенность на получение облигаций. Это уже третья по счету. Сообщи, получила ли ее. И прошу написать правду о результатах дела, не скрывая ее от меня (если она тебе известна).

Что еще написать тебе? Все вы, мои родные, по ком я сходил с ума столько времени, теперь глубоко-глубоко погребены в моей душе, и уже мысль моя с робостью и болью старается не касаться этого наболевшего места. Что толку? Надо жить, пока живется, и ждать того времени, когда твоя жизнь снова будет походить на жизнь человеческую.

До свидания, родная. Целую и обнимаю тебя и детей и всем сердцем желаю вам терпения и здоровья.

Ваш Н. Заболоцкий.

20 октября 1940 (Район Комсомольска-на-Амуре)

Моя милая Катя! Последнее время я довольно аккуратно получаю твои письма и телеграммы. Получил оба письма с фотокарточками, две телеграммы октябрьские и старую сентябрьскую открытку. О получении двух посылок от 6 сентября я уже сообщал,— они тянутся у меня до сих пор и сильно меня подкрепляют. Из карточек особенно приятны те, что с дедом. Там и ты хорошо вышла и ребятки выглядят довольно живо. Натальюшка, должно быть, очень забавная и милая девочка, и мне очень горько, что детство ее отнято у меня. Никитушка вытянулся, но худощав; выглядит подростком. У тебя такое милое выражение лица — там, где ты разговариваешь с Наташей. А дед, видимо, совсем плохо видит.

Ты просишь сообщить — как выгляжу я. Каким я был в тюрьме — ты помнишь — без особых перемен. В январе — феврале — марте того же года я был совсем не похож на себя; сейчас же снова вернулся в норму. Особенно сегодня, когда я подстригся и побрился,— взглянув в зеркало, я решил, что выгляжу совсем неплохо. Правда, говорят, у меня уже пробиваются кое-где седые волосы, что неудивительно, и спереди и на макушке прическа стала редеть. Но признаки этого были и на воле.

Конечно, мой внешний вид сильно отличается от прежнего по платью и по положению, которое я занимаю. Но я стараюсь быть аккуратным. Рваной одежды у меня нет, все подшито; нет ни одной оторванной пуговицы. Правда, ленюсь штопать носки, но их у меня много, и я их ношу аккуратно. Все делаю себе сам. Из посылочного ящика (который был новенький и аккуратный) я сделал себе чемоданчик — немного похожий на настоящий фанерный — с крышкой и ручкой.

Ты просишь выслать доверенность на получение пая; я делаю вывод, что у тебя появилась возможность получить его. Вышлю с первой возможностью в самый короткий срок, но здесь все не так быстро делается. Доверенность на получение облигаций выслал в сентябре — получила ли ее, сообщи.

Денег мне не высылай. Как только мы переедем в Комсомольск, приму все меры к тому, чтобы переслать тебе рублей 500 из своих денег, которые без толку валяются где-то в финчасти.

О деле моем в письмах твоих почти нет сообщений, из этого делаю вывод, что после опротестования Верховной Прокуратурой пересмотр опять затянулся. Но не все делается быстро. Я продолжаю ждать и надеяться на освобождение.

До свидания, родная. Перед посылкой письма припишу еще.

Я здоров, ноги совсем не болят. Витамином С теперь обеспечен надолго, спасибо. Если вышлешь махорочки, буду очень благодарен.

Н. Заболоцкий.

Крепко целую и обнимаю тебя и детей. Привет деду и знакомым.

11 ноября 1940 (Комсомольск-на-Амуре)

Моя милая Катя! Вот и прошли праздники и я хорошо отдохнул в течение этих трех дней. Понемногу обживаемся на новом месте в Комсомольске и привыкаем к новым условиям. Ходить приходится в день в общей сложности километров по 12 — до места работы и обратно. Это отчасти и хорошо, так как это время проводим на свежем воздухе и в движении, что представляет хороший контраст моей неподвижной работе. Плохая сторона хождений — время отдыха сокращается вдвое и в результате значительно больше устаешь. Зато работаю теперь в настоящем большом каменном здании. Я так отвык за эти годы от настоящих домов, что вначале даже странно было видеть себя в обстанов-

ке городского дома. В бараке, где живем, удобства меньше, но зато тепло. Адрес мой несколько меняется. Письма нужно адресовать так: г. Комсомольск-на-Амуре, п/я 99/к, Штабная колонна, мне. Этот адрес обязателен; письма, согласно приказа, будут приниматься только с этим адресом. Название отдела проставлять не нужно.

На праздниках выдали зимнее теплое обмундирование, хорошего — для лагеря — качества: теплый бушлат, шапку-финку, ватные брюки, шарф, рубашку. Кажется, выдадут еще теплые бурки. Так что я теперь обеспечен на все время работы в Управлении еще и казенной теплой одеждой. Кормежка сносная и количественно ее, в общем, хватает. Правда, нет жиров и сахара; сильная нехватка табаку.

Совсем случайно попался в руки мой Руставели, причем на заглавном листе стоит «Перевод с грузинского. Обработка для юношества», и все. Грустно было видеть эту осиротелую книгу, хотя и утешительно было узнать, что работа даром не пропала и не опорочена по существу. В случайно и редко попадающихся книгах читаю иногда чужие стихи и по ним стараюсь почувствовать, чем и как живут старые знакомые. Грустно было прочесть Санины стихи «Давным-давно, не зная почему».

14 ноября. Вчера получил твое письмо от 25/X — с сообщением об ответе Прокуратуры. Оно удивило меня, в особенности если учесть майское сообщение об отмене приговора. За меня ты не бойся, моя родная,— я спокойно читал его; только бесконечно жаль было тебя и детей. Неспокойное время теперь.

Что касается дальнейших заявлений, то я подумаю и, может быть, в дальнейшем напишу. Видишь ли: невозможно оправдаться, не зная конкретно, в чем тебя обвиняют. Ведь если бы было всерьез все то, о чем я писал раньше и в чем меня конкретно обвиняли,— я бы теперь был уже на воле. Оно, по-видимому, так и вышло: со своим заявлением я ломился в открытую дверь. А в чем дело — угадать невозможно.

Доверенность на получение пая я выслал тебе в октябре — теперь ты, очевидно, уже получила ее. Несколько раз сообщал тебе о получении двух сентябрьских посылок из Луги — аккуратно ли ты получаешь мои письма? Сейчас я не понял хорошенько — ты еще две посылки послала или пишешь о тех двух? Имей в виду на всякий случай, что я решительно прошу тебя не беспокоиться обо мне и часто посылки не высылать. Я сыт, обут и одет и живу сносно, ты же должна думать не только о себе, но и о детях.

Скоро кончится 8-й месяц 3-го года. Время идет. Будем жить и работать и надеяться, что через 2 года мы будем вместе. Это как будто все, что нам остается и что подсказывается нам нашим благоразумием. Крепко целую тебя и благодарю за все, моя родная; только не отчаивайся, береги себя и детей. Никитушку и Наташеньку нежно целую. Получил ли Никитушка мое письмо, высланное с неделю назад?

Твой Н. Заболоцкий.

4 января 1941 (Комсомольск-на-Амуре)

Моя милая Катя! Вот и 41-й год. До трех лет остается немного больше двух месяцев.

31-го пришел с работы, пью свою кружку чая — слышу: по радио из Москвы поздравляют с Новым годом. Слышатся тосты и звон новогодних бокалов. Моя кружка с кипятком мало напоминала бокал, барак же совсем не походил на праздничную залу. Вдруг приносят бандероль. Открываю: два томика Пушкина. Повеяло таким теплом дружбы и участия. Спасибо. Так с Пушкиным я и встретил мой Новый год, мысленно поздравляя всех вас, мои дорогие, и всех друзей и знакомых.

Жизнь идет своим чередом, с очередными огорчениями, маленькими радостями, упорной работой и ожиданием — бесконечным ожиданием. Невольно думаешь — что впереди? Судьбы здесь так непостоянны, а весть из Москвы все не идет...

Получила ли ты мои новогодние письма, и получили ли ребятки мои письма с картинками?

Твое письмо от 13 декабря я получил своевременно. Всего две недели шло. Спасибо за все хлопоты. Будем ждать. Рад, что все вы здоровы и что квартирный пай немножко поможет вам. Корнея Ивановича благодарю за привет и за все. Так хочется крепко пожать ему руку.

Все это время я хорошо питаюсь. Мне повезло. Уже более месяца я имею очень приличный обед — иногда даже не хуже домашнего. И есть надежда, что это будет продолжаться еще дней 10. В моем положении это большая удача. Впрочем, и работаю же — не покладая рук.

Когда я возвращаюсь ночью с работы — мне хочется думать, думать, думать. Но думать некогда. Усталость берет свое. Повоевав с клопами, я засыпаю мертвым сном.

Теперь иногда я читаю Пушкина. И по временам он представляется гениальным молодым человеком. Молодым — потому что по годам я представляю себе себя самого значительно более старым, чем Пушкин.

До свидания, родная. Крепко целую деток и тебя. Постараюсь еще написать вскоре.

Если есть возможность — пошли марок. Конвертов и бумаги у меня достаточно, но марок уже штуки 3 осталось.

Твой Коля.

Сыну Никите
9 января 1941 (Комсомольск-на-Амуре)

Мой любимый сынок! Поздравляю тебя с днем рождения, желаю тебе здоровья, хорошего ученья и множества новых интересов, которые ты получишь в школе и из книг. Вот тебе уже 8 лет. Ты уже совсем

большой, милый. Мне было 9 лет в 1912 году. В то время праздновали 100-летний юбилей Отечественной войны 1812 года. Мы, дети, очень увлекались рассказами об этой войне. Летом мы целыми днями играли в войну: наделали себе из бумаги треуголок, из палок — сабель, пик, ружей и храбро сражались с крапивой, которая изображала собой французов. Девяти лет я отлично знал, кто такие были Наполеон, Кутузов, Барклай де Толли. Памятники Кутузову и Барклаю стоят около Казанского Собора. Мама объяснит тебе — кто такие были эти люди.

Когда я хочу себе представить тебя, то вспоминаю себя самого девятилетним мальчиком. И это уже совсем не тот Никитка — маленький, которого я оставил в Ленинграде около 3-х лет назад. Придется нам с тобой снова знакомиться, сынок. Ну, будь здоров, родной. Люби мамочку и сестренку, помогай им и учись хорошо. Мне будет очень, очень приятно узнать о твоих новых хороших и отличных отметках.

Твой папа Н. Заболоцкий.

Поцелуй за меня мамочку и Наташеньку.

24 февраля 1941 (Комсомольск-на-Амуре)

Милая Катя! Письма твои и Никитушкины получаю аккуратно. Последнее письмо твое было от 5 февраля и, кроме того, — телеграмма. Я очень рад переизданию Рабле и Руставели. Доверенность написана, подана и будет на днях выслана; ты ее получишь через милицию или НКВД — таков теперь общий порядок. Сообщи мне о получении. Рад я также, что дети получили мои письма. Получил ли Никитушка мое письмо ко дню его рождения, посланное своевременно в начале января?

Очень радуют меня твои письма, где ты описываешь жизнь и характер детей. Я мало представляю Наташу, но воображаю ее довольно живо по твоему описанию. В отношении Никитки, — меня несколько беспокоит, что его задаривают игрушками и он мало читает. Кто знает — как жизнь сложится дальше, может, ему будет не так сладко житься и после его дорогих игрушек уже ничто не будет привлекать его. Мне хотелось бы, чтобы уже если дарить — то дарить бы ему книги, что ли, чтобы приучался к чтению. Вообще, Катя, смотри за мальчиком попристальнее, береги от дурных влияний, следи, чтобы невинная детская шалость не перешла в одно прекрасное время в хулиганство. Мне хотелось бы, чтобы мальчик рос, уважая труд и любя работу, увлекался бы работой, учением. И еще хотелось бы, чтобы душевная близость между тобой и им не прерывалась и вы были бы друзьями. А для этого нужно, конечно, чтобы вы оба по-настоящему уважали друг друга.

Ты можешь все это сделать, так как ты чутьем понимаешь, что делается в его душе.

Я живу и работаю по-старому. Срочная работа окончилась; более двух месяцев питался хорошо и подкрепился за это время. Теперь питаюсь по-старому — хлеба и каши хватает, иногда — редко — удается при-

купить кое-что, но мало. Только сладкого нет ничего. Уже привык к этому. Насчет посылок ты не беспокойся — это и дорого и трудно. И кроме того, посылки теперь что-то плохо приходят и теряются многие. Не знаю уж, когда я получу эту, высланную тобой. Спасибо, что не забыла положить фуражку. Она мне понадобится. Сообщу, когда получу. Вообще же я стал почти равнодушен к вещам — слишком уже все это ненадежная штука,— сегодня есть — завтра нет.

Уже чувствуется первое робкое дыхание весны. Миновали вьюги с ураганными ветрами, которые доставляли нам много неприятностей во время ходьбы. По утрам еще стоят морозы в 30—40°, но днем начинает играть солнце и воздух быстро теплеет. Все это, конечно, еще начало, еще будут и морозы и вьюги, но все же весна уже где-то тут, и она уже делает свое дело. Скоро скажем: — Вот и еще одна зима с плеч долой.

До свидания, моя родная. Спасибо тебе и Коле за письма. Они — мое утешение в невеселой и нелегкой жизни. Крепко целую тебя и детей. Будьте здоровы и берегите себя.

Твой Коля. Н. Заболоцкий.

Сообщи точно, когда выслана посылка, чтобы я мог навести справки.

6 апреля 1941 (Комсомольск-на-Амуре)

Милая Катя! На этой неделе получил от тебя письмо от 3 марта, телеграмму с извещением о получении доверенности и бандероль с 4 книжечками поэтов. Я рад, что доверенность получена, и хорошо, если и ты что-нибудь получишь по ней. Спасибо за милое письмо и книги. Книжечка Баратынского доставляет мне много радости. Перед сном и в перерывы я успеваю прочесть несколько стихотворений и ношу эту книжечку всегда с собой. Мировоззрение Баратынского, конечно, не совпадает с моим, но его темы и то, что он поэт думающий, мыслящий,— приближает его ко мне, и мне часто приходит в голову, что Баратынский и Тютчев восполнили в русской поэзии XIX века то, чего так недоставало Пушкину и что с такой чудесной силой проявилось в Гете. Но Баратынский нравится мне не только как мыслящий человек, но и как поэт; в стихах его позднего периода (которые написаны им примерно в моем возрасте и старше) у него много поэтической смелости, не в пример молодым его стихам, французистым по манере — в духе того времени. И нужно сказать тебе, что горько становится: не имею возможности писать сам. И приходит в голову вопрос — неужели только один я теряю от этого? Я чувствую, что мог бы сделать еще немало и мог бы писать лучше, чем раньше.

Ты пишешь о свидании. Даже если бы его разрешили,— нет никакого смысла затевать это дело. Не говоря о деньгах, которых нет,— подумай, сколько трудов и лишений доставит тебе эта дорога — сюда, на край света. Приедешь измученная, усталая, издерганная и для чего

же — для того, чтобы провести со мной несколько часов. Ни тебе, ни мне легче от этого не будет; наоборот, мы только еще сильней растравим нашу рану. Не подумай, что мне не хочется видеть тебя. За один только взгляд я бы согласился бог знает что отдать, но трезво обдумав положение дела, мне кажется, что ехать не следует...

Живу так же, как раньше. Весна нынче медленная, то растает, то снова подмораживает.

Недели две тянулась посылка, и я подкрепился ей. Возможно, что скоро наладится получение личных денег, тогда буду в состоянии кое-что прикупать из ларька. В общем жизнь стала очень однообразной со всеми ее трудностями. В делах застой, и нового ничего не слышно.

До свидания, моя родная. Целую тебя и детей. Пишу тебе регулярно каждое воскресенье. Твои письма тоже доходят, кажется, аккуратно, и я рад, что судьба не лишает меня этой моей последней радости.

Твой Коля. Н. Заболоцкий.

8 мая 1941 (Комсомольск-на-Амуре)

Милая Катя, милые детки! Спасибо за поздравления, я сегодня получил вашу телеграмму. Вчерашний день рождения прошел у меня мирно и хорошо. День выдался ясный, солнечный и теплый; уже несколько дней хожу на работу в плаще и фуражке, что очень приятно — после тяжелого и надоевшего за зиму бушлата. В перерыве на завтрак пили чай с вареньем и белыми булочками. Таким образом я вступил в новый год своего существования — 39-й, что само по себе не столь уж радостно, но, правда, пока еще не слишком и печально.

В общем живу я по-старому, и все мои новости и интересы вращаются вокруг работы,— что касается свободных часов, то они ежедневно проходят как две капли воды похожие друг на друга — хождение на колонну или на работу, еда, сон.

Кормежка стала лучше — супы вкуснее, на второе каша гречневая или пшенная. Так как теперь имею возможность получать ежемесячно из личных денег рублей по 50, то эти деньги с прибавкой заработка — 45 рублей — позволяют прикупать кое-что из еды, и питание таким образом в общем делается значительно лучше. С вашими письмами сейчас какая-то местная задержка, которая, видимо, постепенно рассосется. Получил лишь твои открытки от первых чисел марта месяца, писем же не получал давно, также не получил еще и книги.

Кроме газет, почти ничего не читаю — и времени нет, и книг тоже нет. По-прежнему — есть радио, так что я более или менее в курсе всех новостей.

Что касается работы, то я вполне с ней справляюсь и вырабатываю ежемесячную норму до 120—125 процентов при хорошем и отличном качестве. За все время не имел никаких замечаний, выговоров и пр. Работать, правда, приходится немало.

Очень печально, что о вас почти ничего не знаю нового — как вы живете, как Никитушкино ученье, как выяснились дела с деньгами в Детиздате, где и как собираетесь проводить лето. И ведь жить вам без меня еще почти два года — целая вечность!

Часто вспоминаю я Никиткино детство — как он на Сиверской впервые встал на ножки, как лазил под стол за мячом и, разогнувшись там,— ушибся, что послужило ему уроком, как играли в прятки, как он наблюдал за моим бритьем, а я строил ему невероятные рожи, что доставляло ему столько удовольствия; как дочку укачивал; как она тихонько сказала «папа» — тогда,— прощаясь со мной. Или это только почудилось мне? Пиши, Катя, о ребятках. Судьба оторвала меня от дочки; детство ее проходит без меня.

Силы жизни еще живы во мне. Просыпаясь утром, я еще ощущаю приток свежих сил, и первое, что мне хочется,— это вспомнить о чем-нибудь хорошем, что давало бы надежду и поддерживало бодрость духа. Много раз пробовал я трезво размышлять о всем этом моем несчастном деле — но тут так много для меня непонятного, что размышления мои не приводят ни к чему. И кажется, только и радости у меня — что вы живы, здоровы и я, может быть, еще понадоблюсь вам когда-нибудь,— когда буду снова свободен.

До свидания, родная моя. Крепко целую тебя, Никитушку, дочку. Будьте здоровы, не болейте, не забывайте папу, который вас так любит.

Н. Заболоцкий.

30 мая 1941 (Комсомольск-на-Амуре)

Мои дорогие детки, Никитушка и Наташенька! Ваши карточки в письме и конфетки в посылке я получил. Карточки очень даже неплохие, и я каждый день их рассматриваю. Конфетки — прекрасные. Как только я съедаю конфетку, я говорю: — Вот я поцеловал маленький Наташенькин пальчик. Съедаю другую и говорю: — Вот я поцеловал Никиткино ухо. А как только посмотрю на карточку и увижу — какой большой вырос Никита, я думаю: наверно ухо у него теперь с целую тарелку — что же я его целую, это уж даже неприлично. Наташенька тоже выросла, но пальчики у нее еще, вероятно, маленькие — не больше конфетки, поэтому целовать их очень приятно,— они даже вкуснее самых вкусных шоколадок.

Никиту Николаевича поздравляю с переходом во 2-й класс и с отличными отметками. Я его теперь очень уважаю и даже немножко побаиваюсь — вдруг он заметит у меня в письме ошибку или кляксу. Кроме того — он фотограф, а я снимать не умею. Умею только ботинки с себя снимать, когда ложусь спать, а карточки — не умею. Когда я вернусь — Никита Николаевич, вероятно, уже будет разговаривать по-французски, и я буду у него учиться.

А с Наташенькой мы будем играть в лошадки. Она еще будет не очень большая, и ей будет удобно сидеть у меня на спине. Я научился здесь быстро ходить,— если же стану на 4 ноги, то из меня получится недурная лошадка.

До свидания, детки. Поправляйтесь хорошенько на Сиверской, загорайте на солнышке, отдыхайте. Целую вас и обнимаю.

Ваш папа Н. Заболоцкий.

24 июня 1941 (Комсомольск-на-Амуре)

Родная Катенька, милые детки! С этой колонны уезжаю. Я вполне здоров. По прибытии на новое место и при первой возможности напишу и сообщу адрес. Не волнуйся очень, если письмо придет не скоро. Любимая моя! Целую твои ручки. Сколько можно, береги детей и себя.

Твой Коля.

14 ноября 1941 (Район Комсомольска-на-Амуре)

Милая Катя! Я здоров и на старой работе. Мой адрес: Комсомольск-на-Амуре, п/я 99, поселок Старт, колонна 51 (Ширпотреб), мне. Жду твоего письма. Последнее было от 5 июля.

Целую тебя и детей.

Н. Заболоцкий.

14 апреля 1942 (Район Комсомольска-на-Амуре)

Милая Катя! Я жив и здоров; живу сносно. Адрес мой переменился, теперь нужно писать: Комсомольск-на-Амуре, п/я 99/7, колонна № 12, Проектное Бюро, мне.

Последнее твое письмо было от 5 июля прошлого года; после этого письма я получил только две телеграммы — новогоднюю и из Костромы. Последнюю телеграмму не совсем понял и теперь не знаю — с тобой ли дети или ты их оставила у сестры. Мало представляю себе — как вы там живете. Если получишь это письмо и будет возможность — пошли телеграмму,— они, кажется, идут лучше.

Жду вестей от тебя. Крепко целую всех.

Ваш Н. Заболоцкий.

15 июля 1942 (Район Комсомольска-на-Амуре)

Моя милая Катя! Вчера я получил, наконец, твою телеграмму из Уржума. Я уже потерял было надежду, что наша переписка снова наладится, и не знал точно — где вы и что с вами. Теперь мне стало спокойнее. С нетерпением жду посланного письма.

Я здоров и работаю по той же специальности. Прошлая зима прошла однообразно, но удачно в том отношении, что было хорошее теплое помещение. Теперь помещение для лета тоже хорошее, хотя несколько холоднее. До зимы, однако, еще далеко, и неизвестно — где мы будем к тому времени. Живу в общем, по нашим условиям, неплохо. Конечно, далеко не так, как раньше, но все же жить можно. Самая необходимая одежда и белье есть.

Как-то огрубел внутренне за эти годы, и многие ощущения притупились. Может быть, сам организм вырабатывает этим самым средство для самозащиты — ибо разве может человек на протяжении нескольких лет находиться в непрерывном волнении и тревоге?

С трудом могу представить себе, как ты жива до сих пор, если с тобой не произошло того же. Я знаю, что ты впечатлительнее меня и нервы твои легче возбуждаются. Какая мука, если ты не стала теперь спокойнее за детей и за себя!

Напиши, родная, как работается, как ты себя чувствуешь и что теперь представляют собой наши дети. Я знаю, что тебе очень трудно живется. Хотелось бы мне тебя приласкать и утешить. Но что значат в письме — легковесные слова утешения? Одно только ты должна всегда помнить: если судьба еще позволит нам быть вместе, я ничего лучшего для себя не мыслю — как жить для детей и для тебя. Будем надеяться — без надежды трудно жить. Горько думать, что трудно детям. Учится ли или будет ли учиться Никитушка? И как вы кормитесь. Конечно, вещи какие еще были — все осталось в Ленинграде, и теперь у тебя едва ли есть даже самое необходимое. Друг мой, я уже тысячу раз все это передумал, и единственным утешением моим было лишь то, что сами вы живы и здоровы. Я буду возможно чаще писать тебе, пиши и ты, и основное повторяй, так как часть писем, видимо, просто теряется.

Всех вас, мои родные, крепко обнимаю и целую — тебя, Никитушку, Наташеньку.

Милые детки, живите дружно, помогайте мамочке и любите ее. Папа вас всегда помнит и любит.

Ваш Н. Заболоцкий.

30 августа 1942 (Район Комсомольска-на-Амуре)

Милая Катя, милые мои детки! Я жив и здоров, и живу пока по-старому. Готовлюсь к зиме, хотя сентябрь еще, думаю, здесь простоит теплый и хороший. Как уже сообщал вам в последнем письме — ваши письма — открытку и Никитушкино письмо я получил. После этих писем вестей от вас не было.

Никаких особенных новостей у меня нет. Жизнь, конечно, стала сложнее, поэтому стали примитивнее желания и больше уходит времени на то, что раньше делалось само собой. Не всегда бывает махорка, которую я стал курить значительно меньше, но бросить которую все еще

не могу. Да, признаться, и не слишком хочется — ведь это последняя забава, которая еще более или менее доступна мне. А кроме того — бросишь курить — увеличится аппетит, что тоже не устраивает.

Но вообще чувствую себя здоровым и работаю, как всегда.

Подал заявление о переводе вам остатков личных денег — еще не сообщили — перевели их или нет, сам же пока справки навести не могу. Раньше меня очень огорчало, что я почти не имею возможности ничего читать, кроме местной газеты. Теперь же, когда и на воле не до чтения, я как-то смирился с этим. Но как я буду счастлив, если когда-нибудь снова смогу перечитать «Войну и мир» или «Анну Каренину»!

Милые мои, как-то вы живете? Никитушка, вероятно, пойдет учиться, а где же и с кем будет оставаться Наташенька? Здоровы ли вы, мои родные, и как ты чувствуешь себя, Катя? Крепись, моя женка, не горюй. Переживется тяжелое время, отдохнешь и ты.

Милая Катя, напиши мне, что тебе известно о судьбе брата — жив ли он и где находится? И где Андрей Иванович? Из Никитушкина письма я узнал, что Лида тоже работает в Уржуме. Передай ей мой сердечный привет.

До свидания, мои родные. Крепко целую вас всех и обнимаю. Не забывайте папу и пишите почаще, хотя и понемногу.

Ваш Н. Заболоцкий.

23 апреля 1943 (Комсомольск-на-Амуре)

Милая Катя! До сих пор я еще в Комсомольске. Очевидно, на днях выезжаю в Алтай. Как я уже сообщал тебе, я здесь оставлен до конца войны. Я здоров. Сегодня получил письмецо от Наташеньки с картинками. Спасибо, дочка. Получили ли мое предыдущее письмо с письмами для детей?

Очень тороплюсь. До свидания, родные мои, с нового места сразу напишу. Целую всех.

Ваш Н. Заболоцкий.

28 ноября 1943 (Михайловское Алтайского края)

Моя милая Катя! После трехмесячного перерыва получил вчера твое письмо от 11 октября. Никитушкино письмо, видимо, затерялось, но если оно в отдельном конверте — может быть, оно еще дойдет до меня. Рад, что окончилась твоя огородная кампания и что зимой хотя что-нибудь у тебя будет. Я представляю себе, как измучилась ты, и наши полузаброшенные дети так и стоят перед глазами. Но что можешь сделать ты? И так ты делаешь много больше того, что в твоих силах.

О посылке ты не беспокойся, родная. Теперь мои дела поправились: у меня крепкая обувь, есть защитная куртка, брюки и ватная телогрейка, и вообще теперь у меня есть почти все необходимое из одежды.

Есть 2 пары белья. Я чувствую себя сносно, питаюсь тоже. Если все же возьмут посылку, то серую курточку можно послать и легкие брюки. Куртку если не подшила ватой — не подшивай; но если уже подшила, то хорошо и подшитая. Ну, пару белья, носки и все. На жиры не траться, лучше пусть детям. Я не голоден и выгляжу неплохо.

Относительно твоей поездки — рискованное это дело. Я не знаю, дадут ли свидание. Денег потратишь много. В дороге мученья. Да и мы можем отсюда уехать обратно. Как ни тяжело, а не советую, Катя. И рад бы всей душой увидеться, но разум подсказывает другое. И ни к кому не ездят. И детей как оставить? Надо ждать. Может быть, уж не так долго осталось. Получил от Коли из Молотова письмо и сегодня ему отвечаю. Нелегко, видно, им всем достается. Для всех эти годы — переломные, надо вытерпеть их.

Рад, что теперь с комнатой у тебя лучше. Это очень много значит. Хотя дома будет поспокойнее. Как выглядят наши дети? Очень плохенькие или нет?

Переписываешься ли ты с Женей, есть ли сведения о брате? Установлено ли, что он погиб, или это еще не известно?

Что еще нового о знакомых? Коля пишет, что Даниил Иванович и Александр Иванович умерли. При каких обстоятельствах — не пишет. Много знакомых сейчас в Молотове (Перми). Пишет, что квартира Коли в Ленинграде погибла. Напиши, осталось ли что-нибудь от моей библиотеки? Хотя все это теперь дело десятое.

Пишу почти в темноте, поэтому кончаю. Крепко целую тебя, моего любимого мальчика, мою родную доченьку. Как часто-часто мысленно я бываю с вами, кажется, вся душа улетает к вам и беседует с вами. Целую твои ручки, милый друг мой, жена моя. Береги себя, сколько можно. Только бы ты была здорова.

Твой Н. Заболоцкий.

18 февраля 1944 (Михайловское)

Моя милая Катя! Сегодня получил два январские твои письма и перед этим — открытку. Друг мой милый, ведь это первые письма, из которых я узнаю, что было с вами в Ленинграде до эвакуации. Сердце дрожит за вас, хоть и прошло все это и стало прошлым. Сама судьба сберегла вас, мои родные, и уж не хочу я больше роптать на нее, раз приключилось это чудо. Ах вы, мои маленькие герои, сколько вам пришлось вынести и пережить! Да, Катя, необычайная жизнь выпала на долю нам, и что-то еще впереди будет.

Друг мой, стоит ли тут говорить о библиотеке, о костюмах! Тысячу раз права ты, когда продала книги, и вообще — может быть, наибольшая польза, которую могли дать мои книги,— это та польза, которую ты получила от продажи их. Я совершенно серьезно говорю это. Ибо му-

дрость книг — вокруг нас, а жизнь наша и детей наших — одна-единственная и не повторяется больше.

И зачем ты хранишь мой черный костюм, глупенькая? На что он мне? Что я, хуже буду без него, если освобожусь когда-нибудь? Продай его при первом удобном случае, и пусть дети съедят лишний кусочек. Видит бог, никогда не услышишь ты от меня ничего похожего на упрек,— так как в жизни ты, по всей видимости, поступаешь умнее и лучше меня, и я глубоко верю, что судьба еще вознаградит тебя за все лишения и беды, которые перенесла и переносишь ты, моя милая. Я, кажется, тоже стал немного другой; по крайней мере уже не привлекают меня в жизни ни костюмы, ни деньги, и живая человеческая душа теперь осталась единственно ценной.

Я все же так плохо знаю, что творится в жизни, что боюсь что-либо советовать тебе о переезде в Ленинград. Советую тебе списаться с Колей Степановым и подождать, пока он переедет первый и сообщит тебе. Я был бы глубоко счастлив, если бы жизнь там быстро наладилась и все вы, мои дорогие, снова съехались на старые места. Представляю, что тебе там было бы душевно легче с друзьями. Но смотри сама. Может быть, женщинам и детям еще рановато выезжать. Коля тебе не посоветует дурного. Спроси у него.

И Жене и Томашевским прошу передать мой сердечный привет. Запроси Женю о судьбе брата и сообщи мне. Жаль мне брата, так жаль, вся жизнь была у него впереди и за спиной было так мало радостного.

Милая Катя, вчера я сдал большое заявление о пересмотре моего дела — на имя Наркома Внутренних дел для передачи в Особое Совещание. По всей видимости, его скоро перешлют в Москву. Оно подробное, на 11 страниц текста. Буду ждать ответа.

Что касается меня, то обо мне ты не беспокойся. Сейчас моя жизнь идет сносно; я одет и обут, всю зиму хожу в валенках, которых, надеюсь, хватит до весны. Зима здесь на редкость мягкая, и от холода я не страдаю. Кормят значительно лучше, чем в Комсомольске, и я за это время подкормился и чувствую себя неплохо. Конечно, положение мое прежнее, и я не знаю, что со мной будет завтра, но жизнь научила жить сегодняшним днем. Ты просишь написать — что я ем. Друг мой, я ем самые замечательные вещи: щи с капустой, кашу пшеничную и пшенную, иногда лапшу, а также и хлеб. Уверяю тебя, что все это очень вкусно, и там бывает масло, и я не отказался бы еще от лишней порции. Серьезно, не беспокойся обо мне. А вот напиши-ка ты мне: что ты ешь? И помнишь ли ты ту вазу с апельсинами, которая когда-то стояла на нашем столе?

От Коли из Москвы получил небольшое письмецо, на которое послал ответ заказным и теперь жду нового письма.

Если у тебя когда-нибудь выпадет минутка свободная, напиши мне поподробнее о том, что было с вами в Ленинграде и как вы эвакуирова-

лись. В те времена писем от вас не было, не до писем было в те времена.

Целую тебя, родная, целую Никитушку, Наташеньку. Душа моя всегда с вами. Все надеюсь и жду нашей встречи.

Пиши, Катя. Письма твои — радость для меня.

Денег мне не шли, мой друг. Вам они нужнее.

Твой Н. Заболоцкий.

23 апреля 1944 (Михайловское)

Милая Катя, сегодня совершенно неожиданно получил от тебя эту роскошную посылку и удивился, честное слово, откуда ты взяла столько денег, чтобы купить это масло. Ведь по нашим временам это целое состояние. Детям оно было бы нужнее, но уж раз послала — спасибо за все, поем за ваше здоровье. Очень обрадовали меня носки, ибо по этой части у меня дефицит. Я их снаружи подшиваю лоскутками — они дольше держатся. А в одних портянках все еще ходить не научился — вылезают из ботинок. Я живу неплохо и, во всяком случае, лучше, чем в Комсомольске. И за уголки спасибо. Сегодня у меня выходной, первый за долгое время, и я отлично его провел, упражняясь около твоей посылки.

Еще я рад тому, что у меня начинает работать голова, и несмотря на работу, я теперь довольно много думаю. По дороге на работу и обратно стараюсь ходить один, наблюдаю природу, и это доставляет мне величайшее наслаждение. Ведь теперь весна, сколько перемен в природе!

До свидания, родная моя. Спасибо за заботы.

Твой Н. Заболоцкий.

6 августа 1944 (Михайловское)

Милая Катя! Пока в жизни моей никаких перемен нет. Но пребывание наше здесь постепенно подходит к концу, и куда мы поедем дальше, пока неизвестно. В связи с окончанием работ возможны всякие изменения в нашем положении, но все это сейчас еще очень туманно, и не знаю, как обернется.

Живу ничего, неплохо, не голоден. Появляются овощи. Со своего огородика сняли на двоих десятков восемь огурцов, вчера сняли первый десяток красных помидоров. Зреет с десяток-другой дынь не очень крупных, правда. Тыквы уже здоровые, но они созреют позднее. Пробовали смотреть картошку — клубней очень много, но мелкие. Пробовали, правда, недели две назад. Решили не тревожить ее до конца месяца, надеемся снять неплохой урожай.

Правда, лето стоит не очень жаркое, а по ночам стало уже совсем холодно. Сплю все еще на дворе и чувствую себя хорошо, сердце тоже больше не тревожит, как видно, я все-таки здесь подправился.

В здешних местах великолепные урожаи проса. Растение очень неприхотливое, растет даже на невспаханной почве, и урожайность его во много раз больше пшеницы или ржи. Пшенная каша часто бывает на нашем столе, о чем мы и не мечтали в Комсомольске.

Работа идет своим чередом, времени остается мало, но последнее время я все же умудряюсь немного читать — всякие случайные книжки. Прочитал «Собор Парижской богоматери» Гюго, книжку Гейне, статьи Вересаева. Я бесконечно далек от всякой литературы, и искусство стало для меня атрибутом далекого светлого существования, о котором можно только вспоминать.

Газеты я читаю довольно регулярно, также каждый день слушаю радио и сводки Информбюро. События развиваются столь стремительно, что уже нет никакого сомнения в том, что близок конец войны. Все это очень радует и дает зарядку на весь рабочий день.

Давно не получаю писем ни от тебя, ни от Коли. Понимаю, что работа и огород отнимают у тебя все время. Когда выберешь свободную минуту, напиши о своей жизни, о детях, об огороде. Каковы виды на урожай овощей?

Друг мой, не теряй надежды, будь спокойна и терпелива. Не исключена возможность, что скоро ты получишь от меня радостные вести. Только береги себя и детей.

Крепко целую и обнимаю тебя, Никитушку, Наташеньку. Будьте здоровы, мои дорогие, любимые.

Твой Н. Заболоцкий.

29 августа 1944 (Михайловское)

Моя милая Катя! Уже 10 дней прошло после моего освобождения, и я только теперь могу написать тебе письмо. Сразу на голову свалилось столько дел и хлопот, что едва хватило времени, чтобы послать тебе телеграмму. Получила ли ты ее?

Итак, по порядку.

По постановлению Особого Совещания в Москве я был освобожден 18 августа с оставлением здесь в качестве вольнонаемного до конца войны (освобожден по директиве № 185 п. 2). Не исключена возможность, что в дальнейшем я попаду в Армию, но пока оставлен здесь и оформлен в должности техника-чертежника, с окладом 600—700 рублей в месяц и снабжением, которое следует по должности. Оно вкратце сводится к следующему: хлеба 700 граммов, обеды и завтраки в столовой, ну и еще какие-то блага, в курс которых я еще не вошел. Все это не бог весть как жирно, но по нашему времени, в особенности по сравнению с тем, что было у меня недавно, — это очень хорошо. Жизнь значительно изменилась, я питаюсь сытно и вкусно. Вместе со мной освободились два инженера, и мы трое усиленно ищем квартиру, т. е. комнату в крестьянской избе. Несмотря на то, что мы на это затратили много времени

и хлопот,— пока еще ничего твердого не получили, но надеемся в скором времени все же найти пристанище. Пока же ютимся на краю села в грязноватой избушке, но это — временно.

Таким образом, милая Катя, хотя жизнь моя коренным образом изменилась, но это не совсем то, что ты ждала. По всей видимости, я имею право выписать к себе семью, но так как мы здесь кончаем свои дела и через месяц-полтора выезжаем отсюда по новому назначению (еще неизвестно куда), то делать это пока бессмысленно, и нужно, по крайней мере, ждать того времени, когда мы приедем на новое место и осядем там. Трудно сказать — где это будет, и наше окончательное решение будет зависеть от того, насколько будут для нас пригодны условия будущего нашего существования.

Но, дорогая моя, ты не должна разочаровываться. Учти реальные условия нашего времени, подумай и пойми, что если этот поворот в моей судьбе и не обозначает пока нашего немедленного свидания, то он является большим и решающим шагом к нашей дальнейшей совместной жизни, которая теперь совсем недалеко от нас. Если ты все это учтешь, если ты вполне доверишься мне и моему страстному желанию прилететь к вам, родные мои,— это было бы все, чего я хотел бы от тебя в эту минуту. Я еще многого не знаю и не совсем ясно себе представляю, как я буду жить в дальнейшем, но очень возможно, что если ты и дети приедете ко мне, то нам обоим придется работать, так как этих моих заработков всем нам не хватит, и с этим обстоятельством мы до поры до времени должны будем примириться. Но, конечно, родная, тебе все же будет легче, чем теперь, а главное — мы будем вместе, а что будет в дальнейшем — там увидим. Конечно, все это еще наметка, и реальное осуществление этого будет зависеть от того, как сложатся обстоятельства в ближайшие месяцы.

Пока же ты должна глубоко порадоваться за меня, успокоиться и еще набраться немного терпения. Теперь поговорим с тобой о мелочах житейских. Вышел я одетый во все лагерное, но мне оставили кое-что из казенных вещей. На мне рабочие ботинки — грубые, но крепкие, старенькие защитного цвета штаны и куртка, есть 2 смены старого казенного белья, матрацный тюфяк, наволочка, полотенца 2, мое старое зеленое одеяло (уже с дырками), та меховая куртка, которую когда-то ты мне послала, шапка, дырявые валенки. Железный котелок и деревянная ложка довершают мое богатое имущество. Все остальное сорвала с меня жизнь и развеяла во все стороны во время моих злоключений.

Через несколько дней начальство обещает одеть меня в новый бумажный костюм и выдать новое одеяло — по казенной цене. Это уже хорошо, так как это даст мне возможность принять более или менее человеческий вид.

Физически я чувствую себя отлично, выгляжу хорошо и говорят — моложе своих лет. Сейчас здесь поспели арбузы, они очень деше-

вы, и все мы едим их очень помногу, и я все вспоминаю вас, как бы я вас покормил арбузами, если бы вы были со мной!

В связи с изменением жизни на меня навалилось много неожиданных расходов, и ясно, что на первых порах мне приходится туговато. Правда, через несколько дней я должен получить на руки около 200 рублей моего августовского заработка, но впереди целый месяц, есть долги, и я дал телеграмму Коле — просил денег. Это уж исключительный случай, когда я позволил себе эту просьбу. Сегодня получаю письмо от тебя от 4 августа, где ты пишешь, что высылаешь мне денег. Сейчас это очень кстати, родная моя, но уже это — в последний раз. Как только я чуть-чуть приду в себя — я начну высылать деньги тебе, если нам еще суждено будет прожить некоторое время вдали друг от друга.

О теплых вещах я пока не беспокоюсь. Придет время — голым держать не будут, все же теперь мое положение другое.

Таким образом, что хотя у меня и очень скудное оснащение, но я не слишком беспокоюсь об этом, и тебе посылать мне ничего не нужно, тем более, что теперь и посылок от тебя, по всей вероятности, более не примут, поскольку я уже не заключенный. Да и заботиться тебе об этих делах больше не следует.

Что касается твоего вызова в Ленинград, то я, откровенно говоря, сильно сомневаюсь, что ты туда сумеешь уехать, так как есть слухи, что временно в Ленинград въезд приостановлен. Правда, достоверно этого я не знаю. Смотри сама, как будет удобнее, но не слишком ли много будет переездов, если в случае — ты решишь ехать ко мне на новое место, а не жить, ожидая меня до конца войны.

Думается мне, с другой стороны, что и конец войны близок. Каждый день с фронтов все новые и новые радостные вести. Уже Румыния дерется с немцами. В плен наши берут по десятку тысяч. Все говорит о близкой полной нашей победе. Мирная жизнь приближается к нам с каждым часом. Вот, моя дорогая, все самое главное, что я могу сообщить тебе на первых порах. Как только вырву минуту, напишу Коле.

Еще вот что: если придется тебе ездить, ради бога, будь осторожна и не попадись под поезд. У нас тут вчера был несчастный случай, и я очень боюсь за тебя.

Еще подробность: меня освободили по ходатайству нашего Управления.

Поправились ли ребятишки? Милые мои, порадуйтесь за меня. Теперь уже недалеко то время, когда мы будем вместе.

С первой возможностью напишу еще.

Милая Катя, целую крепко тебя и детей. Будьте здоровы и терпеливы, так как квартиры еще нет, пишите по адресу: Кулунда, Омской, с. Михайловское, Алтайского края. До востребования — мне.

Телеграммы я не получал почему-то.

Твой Н. Заболоцкий.

Телеграмма 31 августа 1944 (Михайловское)

Освобожден, оставлен вольнонаемным здесь, подробности письмом.

4 октября 1944 (Михайловское)

Получил от тебя еще 2 письма от 15 и 17 сентября. Никаких телеграмм твоих я не получал, справлялся о них, но на телеграфе их нет — значит, все затерялось. Письмо первое было послано заказным 28 августа. Значит, оно еще не дошло. После него послал еще письмо и телеграмму.

Страшно подумать, какое безумие налетело на тебя в эти дни. Жаль мне тебя, но что делать, если неполучение писем путает все наши карты и ты готова идти на риск и ехать, куда глаза глядят, сейчас же, не дождавшись письма.

Я директивник, я не пользуюсь всеми правами гражданства. Ты должна это учесть. Семью я могу выписать к себе только с разрешения начальника строительства. До сих пор, думая, что твой приезд сюда пока невозможен из-за скорого нашего отъезда на новое место, этого рапорта я не подавал. Получив эти последние письма, я вижу, что ты можешь приехать сама, и поэтому завтра на всякий случай подаю рапорт. О результатах телеграфирую. О нашем отъезде отсюда — еще точно не выяснено; но думаю, что в течение октября это выяснится. Все может быть внезапным. Здесь особые условия.

Посылаю это письмо и не знаю, застанет ли оно тебя. На всякий случай мой адрес в Михайловке: Пролетарская, 49; это на краю села. Адрес для писем: Михайловка Алтайского края, п/я 308.

Совет мой — приезжать на новое место, это будет благоразумнее, и все будет согласовано с начальством. Но ты, кажется, готова решить иначе, и письмо мое слишком запоздает, чтобы предотвратить твое решение. Пусть будет так, как решит судьба. Но не волнуйся напрасно и не теряй голову. Я здоров. Целую и обнимаю всех.

Любящий вас Коля.

Коля мое письмо от 11 сентября получил, а оно было послано на 2 дня позже, чем тебе (30 августа).

Телеграмма 23 октября 1944 (Михайловское)

20-го телеграммой высылаю разрешение райисполкома начальнику Уржумского райотделения НКВД. Копия себе. Татарской пересадка Кулунду. Кулунде пойди найди Транспортный отдел Алтайлага. Прокопенко устроит переезд Михайловку. Заболоцкий.

ЗАВЕЩАНИЕ

Когда на склоне лет иссякнет жизнь моя
И, погасив свечу, опять отправлюсь я
В необозримый мир туманных превращений,
Когда мильоны новых поколений
Наполнят этот мир сверканием чудес
И довершат строение природы,—
Пускай мой бедный прах покроют эти воды,
Пусть приютит меня зеленый этот лес.

Я не умру, мой друг. Дыханием цветов
Себя я в этом мире обнаружу.
Многовековый дуб мою живую душу
Корнями обовьет, печален и суров.
В его больших листах я дам приют уму,
Я с помощью ветвей свои взлелею мысли,
Чтоб над тобой они из тьмы лесов повисли
И ты причастен был к сознанью моему.

Над головой твоей, далекий правнук мой,
Я в небе пролечу, как медленная птица,
Я вспыхну над тобой, как бледная зарница,
Как летний дождь прольюсь, сверкая над травой.
Нет в мире ничего прекрасней бытия.
Безмолвный мрак могил — томление пустое.
Я жизнь мою прожил, я не видал покоя:
Покоя в мире нет. Повсюду жизнь и я.

Не я родился в мир, когда из колыбели
Глаза мои впервые в мир глядели,—
Я на земле моей впервые мыслить стал,
Когда почуял жизнь безжизненный кристалл,
Когда впервые капля дождевая
Упала на него, в лучах изнемогая.

О, я недаром в этом мире жил!
И сладко мне стремиться из потемок,
Чтоб, взяв меня в ладонь, ты, дальний мой потомок,
Доделал то, что я не довершил.

1947

СОДЕРЖАНИЕ

ЗАБОЛОЦКИЙ Николай Алексеевич

ИСТОРИЯ МОЕГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Составитель и автор предисловия Л. А. Озеров

Редактор Л. М. Наточанная

Технический редактор Т. Я. Ковынченкова

Сдано в набор 15.02.91. Подписано к печати 25.03.91.
Формат 70 × 108 1/32. Бумага газетная. Гарнитура «Гарамонд».
Офсетная печать. Усл. печ. л. 2,10. Усл. кр.-отт. 2,28. Уч.-изд. л. 3,00.
Тираж 90 000 экз. Зак № 184. Цена 20 коп.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда». 125865 ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.

20 коп.

Индекс 70668

В СЕРИИ «БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК» В ЭТОМ ГОДУ ВЫШЛИ СЛЕДУЮЩИЕ КНИГИ:

О. МАНДЕЛЬШТАМ «Четвертая проза»;
Е. РЕЙН «Непоправимый день»;
В. НИКОЛАЕВ «Горсовет по-американски»;
С. ЛИПКИН «Угль, пылающий огнем»;
Г. АКСЕНОВА «Театр на Таганке: 68-й и другие годы»;
И. ЭРЕНБУРГ «Неправдоподобные истории»;
Л. ЧУКОВСКАЯ «Сверстнику»;
Р. РОЖДЕСТВЕНСКИЙ «Бессонница»;
К. БАЛЬМОНТ «Где мой дом?»;
Ю. КАРАБЧИЕВСКИЙ «Незабвенный Мишуня»;
В. РЕЦЕПТЕР «До третьего звонка»;
Б. ЗАЙЦЕВ «Братья-писатели»;
М. КВЛИВИДЗЕ «Продолжение следует»;
Г. БЕЛАЯ «Затонувшая Атлантида»;
А. АНАНЬЕВ «Конец опричнины»;
Ь. ПЕТРОВСКИЙ «Два человека — одно сердце»;
В. СЕЛЮНИН «Все у нас получится».

ISSN 0132-2095. Б-ка «Огонек». 1991. № 18. 1—48.